

В МИРЕ ФАНТАСТИКИ И ПРИКЛЮЧЕНИЙ



В МИРЕ

ФАНТАСТИКИ

И

ПРИКЛЮЧЕНИЙ



**В МИРЕ ФАНТАСТИКИ  
И ПРИКЛЮЧЕНИЙ**

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

ЛЕНИНГРАД 1959

*Переплет, титул и шмуцтитулы*

*О. И. Маслакова*

*Заставки Н. А. Кустова*

Е. РЫСС, А. РАХМАНОВ

Дождик  
на болоте

П О В Е С Т Ъ



## ОТ АВТОРОВ

История, рассказанная в этой повести, может показаться невероятной. Могли ли советские люди, боровшиеся в фашистском тылу, окруженные повседневными опасностями, ежеминутно рискуя жизнью, тратить силы, энергию, время на то, чтобы не только спасти советского ученого, но и предоставить ему возможность продолжать научную работу? Но вот что сообщил в своем докладе тов. П. К. Пономаренко, который во время войны был секретарем ЦК партии большевиков Белоруссии («Известия» от 2 июля 1944 г.):

«Выполняя указания центра, минские подпольные организации спасали советских людей. Сколько семей было доставлено на «Большую землю» с помощью белорусских партизан! Ярким примером братской помощи партизан может служить история спасения академика Никольского. Этот старый человек, ученый, имя которого известно далеко за пределами Советского Союза, не успел выехать из Минска в тяжкие дни 1941 года, но он не хотел оставаться у немцев, не хотел работать при них. Тогда минские товарищи, имена которых, быть может, даже неизвестны спасенному ими академику, приняли на себя охрану ученого и его труда. Никольский не только был избавлен от гитлеровских допросов и регистраций, но смог продолжать и закончить свой труд, начатый еще до войны по плану Академии наук БССР. Центральный комитет партии большевиков Белоруссии внимательно следил за работой, и, когда его труд был закончен, автора, все еще находившегося в минском подполье, поздравили с высокой наградой — орденом Ленина. Получить награду академик Никольский благополучно прибыл в Москву».

Значительно и волнующе то, что в условиях оккупации, страшного полицейского режима, в условиях кровавого гитлеровского террора ни на один день не переставала действовать советская государственная система. Работали подпольные партийные организации, советская и партийная дисциплина определяла поступки людей, и советское правосудие неуклонно карало преступников.



**ЧАСТЬ ПЕРВАЯ**  
(Рассказанная Валей  
Костровой)

**НАЙДЕНО  
И ПОТЕРЯНО**

*Глава первая*

**ПРОФЕССОР КОСТРОВ  
И ЕГО СЕМЬЯ.  
ЗНАКОМСТВО С ВОЛОДЕЙ  
СТАРИЧКОВЫМ**

I

Матери своей я совсем не помню. Она умерла, когда мне исполнилось полтора года. Воспитывала меня бабушка, следившая только за тем, чтобы я была сытно накормлена и тепло одета.

Отец мой, Андрей Николаевич Костров, в тридцать четыре года был уже профессором. Докторская его диссертация обратила на себя внимание широких кругов биологов в Советском Союзе и за границей.

Он очень меня любил, но был слишком занят и увлечен своей работой, чтобы уделять мне много времени. В субботние вечера я всегда приходила к нему

в кабинет. Он пытался рассказывать мне сказки, но скоро убеждался, что плохо их помнит, и переходил к темам более ему знакомым. Когда мне было пять лет, он подробно рассказывал о туберкулезных палочках, стрептококках, бактериях чумы и азиатской холеры. Неясно себе представляя настоящий размер этих вредных существ, я стала очень бояться темных комнат. Мне казалось, что за дверью притаился стрептококк, который непременно треснет меня по голове здоровенной туберкулезной палкой.

После смерти бабушки мне пришлось заняться хозяйством. Отец в практической жизни был беспомощным. Домработница наша готовила еду и убирала комнаты, но все серьезные хозяйственные и бюджетные вопросы решала я, хотя мне еще не исполнилось тринадцати лет.

Я рано привыкла к самостоятельности, чувствуя себя ответственной за многое такое, о чем девочки моих лет обычно не думают. Конечно, это наложило отпечаток на мой характер, но я думаю, что, скорее всего, благотворительный отпечаток.

Отец относился ко мне с доверием, которое обыкновенно оказывают только взрослым. Это заставило меня так бояться потерять это доверие, что никакое самое строгое воспитание не могло бы меня больше дисциплинировать. Не следует думать, что я была лишена удовольствий, свойственных моему возрасту. Я успевала бывать и на катке и в театре, я приглашала к себе подруг и ходила в гости сама. Только на праздные размышления — что бы такое от скуки сделать и чем бы заняться — у меня совершенно не оставалось времени.

Год шел за годом. Я окончила школу и, после долгих совещаний с отцом, подругами и приятелями, решила идти на биологический факультет. Отец не мог себе представить, что я стану заниматься чем-нибудь другим. Мысль о том, что я буду историком, инженером или юристом, казалась ему такой же нелепой, как мысль о том, что я наймусь кочегаром на океанский пароход. Может быть, я и не была прирожденным биологом, но, проведя все детство в кругу биологических интересов, постоянно слушая разговоры о микробах и вирусах, я как-то привыкла к микробиологии и сжилась с мыслью, что изберу эту специальность. Кроме того —

что скрывать! — был у меня еще один довод в пользу биологического факультета. К этому времени имя отца значило уже так много, что не было в нашей стране, да, пожалуй, и за границей, биолога, который не знал его трудов. И меня невольно тянуло в ту область науки, где для дочери профессора Кострова всегда была открыта дорога.

## II

Меня просили рассказать о необыкновенной истории работы над вакциной, а я начала рассказывать о своем детстве. В дальнейшем я буду держаться ближе к теме, однако я должна рассказать о первом своем увлечении, потому что Володе Старичкову, которым я увлеклась, пришлось сыграть в судьбе вакцины очень большую роль.

Мы встретились, будучи уже второкурсниками, на одной загородной прогулке. Его привела с собой моя приятельница Лидя Земцова. Володя был белобрысый юноша невысокого роста. Поначалу он мне не понравился. Он вежливо пожал мою руку, когда нас представили друг другу, и отошел в сторону. Всю первую половину прогулки он очень оживленно беседовал с Мишей Юркиным и не обращал на остальных ровно никакого внимания. Миша Юркин был знаменит еще в школе тем, что решил стать капитаном дальнего плавания и даже написал куда-то заявление по этому поводу. В конце концов он провалился на экзаменах, не попал на штурманские курсы и сейчас работает плановиком, если не ошибаюсь, где-то в Бугуруслане. Но тогда его дерзкая мысль волновала наше воображение. И вот будущий капитан дальнего плавания, высокий, красивый юноша со стальными глазами и «волевым», как говорила Лидя Земцова, лицом, шагал рядом с низеньким, белобрысым Володей и объяснял ему прелести дальних плаваний. Краем уха я слышала их разговор.

— Что же вас, собственно, привлекает в морской профессии? — спросил Старичков.

— Это, может быть, единственное занятие, — сказал Юркин, — в котором даже в наше время еще сохранилась романтика. Только на палубе корабля, в далеком море может быть по-настоящему счастлив мужчина.



Володя немного подумал и кивнул головой.

— Я понимаю вас, Юркин, — сказал он. — Но я думаю, что из вас не только капитана, а, пожалуй, даже и третьего штурмана никогда не получится. Я вам сейчас объясню, почему.

Он говорил так спокойно, так дружелюбно и так искренне старался разъяснить свою мысль, что Юркин, растерявшись, сначала даже не обиделся.

— В каждом деле, — продолжал Володя, — есть обыкновенное и романтическое, есть хорошее и плохое, и, когда выбираешь профессию, мне думается, ее нужно любить даже за ее плохое. Вас же привлекают в морской профессии только те прекрасные минуты, которых в ней, вероятно, так же немного, как и во всякой другой. Все равно как если бы вы решили быть актером потому только, что очень любите, когда вам аплодируют. По-моему, так. А по-вашему?

Юркин покраснел и отошел, а Володя посмотрел на него с удивлением и, кажется, действительно не понял, почему тот рассердился. Уже тогда я решила, что мы с Володей будем друзьями. На следующий день мы встретились в институте и с тех пор встречались уже постоянно.

Ссорились мы с ним ужасно. У него была противная манера говорить все, что он о тебе думает, прямо в глаза, да еще спокойным, рассудительным тоном, как будто речь идет о совсем постороннем человеке.

Мне запомнился такой случай. У нас был студент (я не назову его фамилию, потому что сейчас он известный биолог и его очень многие знают); студент этот поступил в университет, приехав из отдаленной, глухой деревни. В городе все его поражало. Обыкновенный кинотеатр казался ему роскошным храмом искусства, а поездка на трамвае — чуть ли не событием. Когда мы пошли всем курсом в оперетту, его приводил в удивление и восторг каждый фрак и цилиндр. На потеху всему залу, он шумно восторгался усыпанным блестками платьем премьерши. Я считала его глупым, тем более, что на первом курсе учился он очень плохо. Я не понимала, как ему трудно в новых, для него необычных, условиях, в новой среде.

Однажды, когда я, по обыкновению, подшучивала

над незадачливым студентом, Володя вдруг прервал меня и заговорил так же спокойно, как он говорил всегда.

— Знаешь, Валя, — сказал он, — ты напрасно смеешься над ним. Он до поступления в университет не видел микроскопа, пробирки, не встречался ни с одним ученым биологом, а ты росла в семье профессора и с самого детства могла привыкнуть к своему делу. Тебе бы следовало уже напечатать несколько специальных работ, но ты этого не сделала. А он уже учится гораздо лучше, чем учился на первом курсе. Так что, в сущности говоря, он имеет больше оснований смеяться над тобой, чем ты над ним.

Мне показалось это невыносимо обидным. Я ответила резко и глупо. Через день я подошла к Володе и сказала, что он был совершенно прав.

Однажды я стала просить Володю, чтобы он меня повел на гастроли МХАТа. Он купил билеты. Мы сидели в пятом ряду и в антракте ели пирожные. Он пришел в какой-то старой, очень потертой куртке. Это было в марте. Он объяснил, что его пальто в чистке. Через два дня мне сказал его товарищ по общежитию, что Володя в тот день продал пальто. Я даже расплакалась, так меня мучила совесть. Главное, я ничего не могла ему сказать. Я знала, что он бы обиделся.

## *Глава вторая*

### **ПРОГУЛКА ЗА ГОРОД. МЫ СМОТРИМ НА АЛЕХОВСКИЕ БОЛОТА**

#### I

Зато какие чудесные бывали у нас разговоры, когда мы не ссорились! Мы гуляли по улицам, увлеченно обсуждая вопросы, которые в этом возрасте кажутся самыми важными, готовились вместе к зачетам, ходили в кино и считали — я, по крайней мере, — что мы большие друзья.

И вот наконец настал день, один из лучших дней в моей жизни, после которого мы так неожиданно и так надолго расстались.

Апрель в наших местах всегда бывает дождливым,

и до начала мая редко устанавливается ясная погода. И вдруг выдался необыкновенно теплый, солнечный день.

В одиннадцать часов утра Володя сдавал моему отцу основы микробиологии. Мы условились встретиться после зачета. Отец продержал его очень долго. Я уже начала волноваться, когда Володя наконец появился. Вид у него был такой встрепанный, что я даже испугалась.

— Провалил? — спросила я.

Я знала, что от моего отца всего можно ждать.

Володя покачал головой:

— Пятерка.

Мы вышли из подъезда университета. Солнце светило вовсю. Впервые в этом году я увидела сухой асфальт.

— Какая ранняя весна! — сказала я и повернулась к Володе.

Он стоял, шурясь от солнца, и лицо у него было растерянное.

— Пойдем, — сказала я решительно. — Тебе надо проветриться.

Володя улыбнулся, и мы пошли по весенним, шумным улицам города. Все вокруг было удивительно нарядным. Фасады домов казались яркими, машины сверкали, как будто их заново отлакировали, и даже трамвай был до того ослепительно красен, что на него больно было смотреть.

Володя постепенно приходил в себя. Когда мы дошли до окраины города, он совсем развеселился. Нам все нравилось в этот день.

— Смотри, какой щенок! — восторгался Володя. — А лужа какая чудная! Видишь, в ней облака плывут!

Веселые вышли мы из города, миновали пустыри и пошли по шоссе. Далеко впереди синела полоска леса. Сзади загудел автобус.

— Я вас домчу туда, в лес, за полчаса, — сказал Володя галантно и, встав посреди дороги, поднял руку.

Автобус послушно остановился.

Свободные места были только на самой задней скамейке. Нас подбрасывало так высоко, что головами мы стучались о потолок машины. Было больно, но мы громко смеялись, а пассажиры оглядывались на нас

и улыбались. Какой-то человек, сидевший впереди, обернувшись, привстал и вежливо мне поклонился. Я с трудом узнала его: в то время мы были почти незнакомы с Якимовым, будущим ассистентом отца. День был такой хороший, что даже его всегда немного угрюмое лицо казалось оживленным и почти приветливым.

## II

Я не верю в предчувствия. Если бы они существовали, разве осталась бы я спокойной при этой встрече Якимова и Старичкова — двух людей, сыгравших такую роль в моей дальнейшей жизни! Володя совсем не обратил на него внимания.

Мы сошли на высоком гребне холма. Я махнула шoferу рукой, и автобус покатил с холма вниз, трясясь и подпрыгивая на неровностях шоссе.

Как шумно было сегодня в лесу! Пожалуй, больше всего шумели грачи. У них хлопоты были уже в полном разгаре. Они деловито ходили по земле, там, где уже сошел снег, клевали червей, носились вокруг своих неуклюжих черных гнезд и, видимо, волновались, что вот прилетели на летние квартиры, а многое не устроено. Сколько еще предстоит беспокойства и возни, пока удастся наладить мало-мальски приличную жизнь! Вороны и галки ходили по снегу и хмуро переговаривались. А под снегом шумели ручьи; они вырывались из-под сугробов и радуясь бежали с холма. Маленькие журчали тонко и неуверенно, а большие бурлили так громко, будто они и впрямь настоящие реки.

Перепрыгнув через ручей и отойдя на несколько шагов от дороги, я нагнулась. На небольшой проталинке, у самого края снежного наста, рос подснежник. Белый, на прямом стебельке, он стоял такой удивленный, как будто никак не мог понять, откуда появился этот прекрасный, огромный мир.

Отовсюду видно было далеко-далеко. До самого горизонта тянулся лес. Белой полосой извивалась река, еще покрытая льдом, и лес подходил вплотную к обоим ее берегам. Далеко за рекой виднелись пестрые пятна: мелколесье, низкорослый кустарник, маленькие озера, заросшие камышом. Я показала на них Володе:

— Это знаменитые наши Алеховские болота. При

крепостном праве там годами прятались беглые, и полиция не могла до них добраться. Позже, когда здесь прошел тракт, на болотах скрывалась шайка атамана Алехи.

Болота лежали перед нами пустынные и зловещие. Легкий пар поднимался над ними, а на снегу кое-где виднелись коричневые пятна, будто его проела ржавчина. Это вода проступала сквозь снег.

Пока мы смотрели на болота, их заволокло туманом.

Нет, не бывает предчувствий! Второй раз в этот день я заглядывала в свое будущее, не зная об этом. Мы стояли с Володей на холме и не подозревали, что смотрим на то самое место, где обоим нам придется пережить столько таинственного и страшного. Самый вид болота наводил тоску, и мы отвернулись от него.

Пора было возвращаться. Когда мы подошли к дорожке, солнце внезапно скрылось. Сразу же повалил мокрый снег.

— Эта проклятая туча с болота нагнала нас, — сказал Володя.

Стало холодно и пронизывающе сыро. Я посмотрела на тонкую Володину куртку. В пальто, которое он продал, чтобы повести меня в театр, ему было бы гораздо теплее... Я решительно расстегнула свое пальто и сказала:

— Стань ближе. Мы накроемся оба.

— Сейчас же застегнись! — сказал он сердито. — Почему ты думаешь, что мне холодно?

— Потому что у тебя нос синий, — сказала я. — Скорее, пока пальто теплое!

— Нет!

Даже мне становилось холодно, а у него зуб на зуб не попадал, и он отворачивался, чтобы я этого не заметила. Мне его стало так жалко, что неожиданно для самой себя я обняла его и поцеловала.

Он резким движением обнял меня за плечи и вдруг оттолкнул. Я растерялась. Он отвернулся и стоял не двигаясь. Мокрый снег падал ему на шею и на плечи. Мы стояли, не зная, как прервать молчание, и вдруг услышали с облегчением, что автобус, ворча, взбирается на холм. Мы молча вышли на дорогу, молча влезли в автобус и молчали до самого города. Я подняла

воротник и смотрела в окно, за которым плясали снежинки, скрывая лес, небо и землю.

Всю дорогу я думала о том, какой Володя хороший. Один раз я искоса на него посмотрела. Вид у него был очень несчастный, но я знала, чувствовала, что он с нежностью думает обо мне.

### III

Он довел меня до самого дома. У крыльца мы остановились. По-прежнему падал мокрый снег, и ничего кругом не было видно; даже рядом горевший фонарь казался неясным облачком света.

Я протянула Володе руку на прощанье. Теперь мне было неловко, что я его в лесу поцеловала. «К счастью, он хороший друг, — думала я, — и никогда ничем не напомнит об этом». И мне было очень обидно, что не напомнит...

Должно быть, я непроизвольно притянула его к себе, когда мы прощались. Он нежно обнял меня и поцеловал. Я прижалась к нему, и мы недолго постояли обнявшись. Потом он ласково, но решительно отстранил меня от себя. Открыв глаза, я увидела его за белой сеткой снега.

Он крикнул мне:

— До свиданья! — и быстро пошел по улице.

Придя домой, я легла в постель и потушила свет, но долго не могла заснуть. Приятно было представлять то радостное, что еще впереди. Наступает лето. Можно кататься на лодке, загорать на пляже, плавать, есть мороженое в саду и гулять, не боясь мокрого снега. Все это еще предстоит нам с Володей. Я знала, я чувствовала, что он меня любит. Какое мне было дело, почему он ушел и не поцеловал меня второй раз!

Весь следующий день я ждала его в библиотеке. Его не было. Ночь показалась мне очень длинной, и наутро я пошла к нему в общежитие. На его кровати сидел незнакомый мне студент.

— Вы не знаете, — спросила я, — где Володя Старичков?

— Старичков уехал, — сказал студент.

— Как — уехал? Куда? — Я растерялась. — Вы, наверно, не о нем говорите?

— Почему не о нем? — студент удивился. — Вот, меня на его койку перевели.

В деканате подтвердили, что студент Старичков отчислен из университета по собственному желанию. Я пошла к отцу и попросила выяснить, что случилось.

— Уехал? — сказал отец. — Ну что ж, значит, я недаром с ним беседовал.

— О чем ты с ним беседовал, — спросила я, — и почему я об этом не знаю?

— Видишь ли, — объяснил отец, — когда студент переходит на третий курс, я всегда ему заявляю, что биологии, как и всякой науке, нужно отдать всю жизнь. Если студент не способен на это, пусть лучше уходит. Случайные люди науке не нужны.

Впервые в жизни я всерьез рассердилась на отца.

— Ты сварливый старик, — сказала я. — Тебя следовало бы снять с преподавательской работы. Ты говоришь, что государству нужны биологи, и распугиваешь самых талантливых!

Только через полтора месяца я получила письмо от Володи.

«Дорогая Валя! — писал он. — Извини, что я не простился с тобой. Андрей Николаевич с мудрой резкостью поставил передо мной вопрос о моем призвании. Я люблю биологию, но все-таки это для меня не то дело, которому можно отдать себя на всю жизнь. Мне было очень трудно расстаться с тобой, особенно после того дня, когда мы ехали в автобусе. Я боялся, что, если увижу тебя, не решусь уехать. И я не простился. Не сердись на меня.

*Старичков».*

Вспомнив нашу прогулку, я поняла причину странного его поведения и не рассердилась на него, а только погоревала.

С тех пор я ничего не слышала о Володе, пока мы не встретились через несколько лет и не пережили вместе незабываемые и страшные дни. Сначала я тосковала о нем, но постепенно забывались наши прогулки и разговоры, образ Старичкова расплывался, бледнел, становился неясным и туманным, как все воспоминания нашей юности.

**АССИСТЕНТЫ. ПРОФЕССОР КОСТРОВ НАЧИНАЕТ  
БОЛЬШУЮ РАБОТУ. ВОЙНА**

I

Я не помню, когда у нас стал бывать Якимов. Кажется, году в тридцать седьмом или в начале тридцать восьмого. Неуклюжий и широкоплечий, он сидел всегда на самом незаметном месте, добродушно улыбался, когда все кругом разговаривали, и багровел, когда к нему обращались. Рукава всех его пиджаков были ему коротки, а плечи узки. Пиджаки натягивались и слегка трещали, когда он наклонялся. Не знаю, где он доставал себе подходящую обувь, — наверно, покупал те огромные туфли, которые делаются для реклам.

По-видимому, он не был очень талантлив, — отец сам всегда говорил, что пороку Якимову не выдумать. Но работоспособен он был исключительно. Он мог не спать, не обедать и работать, не разгибая спины. Он мог сутками сидеть за столом, склонившись над микроскопом или покрывая листы бумаги строчками крупных, неуклюжих букв.

В 1939 году он защитил кандидатскую диссертацию. По словам отца, это была хорошая, обстоятельная работа, не открывшая никаких новых истин, но очень добросовестно излагавшая ранее высказанные предположения. Отец часто приглашал его к нам, и скоро мы к нему привыкли. Очень он был хозяйственный человек. То приколотит полку, то подравняет ножку стола или, прозанимавшись часа четыре, наколет и наносит дров. Он был способен ко всякому ручному труду и однажды отлично отполировал буфет.

Это, пожалуй, все, что я могу о нем вспомнить. Я к нему относилась дружелюбно. Командовала им, ругала за всякое упущение, но привыкла к тому, что в доме есть молчаливое существо, непонятное, но, видимо, доброжелательное. К сожалению, курил он ужасно много. Когда я говорила, что в квартире трудно дышать, он курил в форточку; я кричала, что он напускает холоду, — Якимов курил в печную вьюшку; я злилась, что выстуживается печка, — Якимов уходил курить на кухню.



Вертоградский появился у нас осенью 1939 года, и о нем сразу заговорили все. Он окончил Московский университет и поступил к нам в аспирантуру. Почему он не остался в Москве, было не совсем ясно. Говорили разное, но все сходились на том, что случилось что-то интересное и романтическое. На самом деле, как случайно узнал отец, он просто провалился на экзаменах. Впрочем, причина его провала действительно была романтична. Он влюбился в какую-то девушку, два месяца, вместо того чтобы заниматься, ухаживал за ней, пошел на экзамен, даже не заглянув в книжку, и провалился. Девушка вышла замуж за того профессора, который его провалил, а он уехал в наш город, месяц посидел в библиотеке и отлично сдал все экзамены. Начал своей аспирантской деятельностью он ознаменовал тем, что, получив комнату в общежитии, позвал соседей в гости, усадил их играть в очко и проиграл деньги, рубашки, галстуки, новый костюм, фетровую шляпу и даже чемодан. Больше всего были расстроены выигравшие. Они никак не хотели раздевать товарища и умоляли его считать игру шуткой. Но он обиделся, заставил их взять все выигранное и до очередной полочки ходил в старом костюме, рваной кепке и истрепанном галстуке.

История эта стала широко известной. Его осуждали и студенты и профессора, но осуждали не очень строго. Были во всей этой глупой истории широта и нерасчетливость, которые невольно привлекали.

Месяца через три Вертоградский блеснул докладом. В поразительно короткий срок он сумел освоить довольно большой материал. Понять, когда Вертоградский работает, было совершенно невозможно: он бывал на всех вечеринках, театральных премьерах, концертах и балах, хорошо танцевал и знал все новые танцы. Количество анекдотов, которые он помнил, было непостижимо. Рассказывал он их отлично, весело и легко. Он любил выпить и за столом был неистощим на смешные выдумки. Кстати, я долго считала, что Вертоградский замечательно оправдывает свою фамилию. Я полагала, что слово «вертоград» означает что-то необыкновенно легкомысленное, вертящееся, пока, заглянув в словарь, не узнала, что на языке старинных книг это просто виноградник...

Мой отец не любил людей типа Вертоградского. Он называл их почему-то папильонами и утверждал, что толку от них никогда не бывает. Но к Вертоградскому он постепенно стал относиться лучше и лучше. Действительно, в нем было что-то удивительно обаятельное. Он никогда не скрывал своих пороков и проступков, но вы всегда чувствовали, что он искренне кается и очень хотел бы быть хорошим. Кроме того, нельзя отрицать, что он был талантливый человек. То, что Якимов делал месяц, Вертоградский успевал сделать за неделю. Отец ворчал, ворчал, а после махнул рукой, простил Вертоградскому его легкомыслие и привлек в качестве помощника к главной своей работе.

## II

Когда я впервые услышала о вакцине, тоже не помню. Кажется, в конце 1939 года. В том году, весной, я окончила университет, осенью Германия напала на Польшу, началась мировая война.

Именно в это время отец стал посещать хирургические палаты больниц и подолгу беседовать с хирургами. Его «Основы микробиологии» только что вышли в свет, печать отозвалась о них очень хорошо, и я настаивала, чтобы отец месяца на три поехал на юг отдохнуть. Уже выбран был санаторий. Уже были куплены белые брюки, парусиновые туфли и соломенная шляпа, которую можно было носить только на курорте. И вдруг отец заявил, что никуда не поедет.

В декабре Якимов и Вертоградский были зачислены в лабораторию отца. Они каждый день сидели допоздна у отца в кабинете. В университете отец сократил до минимума количество своих лекций. Теперь целые дни он проводил в лаборатории. Он перестал приходить ко второму завтраку, и я утром совала ему в карман бутерброды. В конце зимы он поехал в Москву и вернулся недели через три, оживленный, веселый и довольный.

В первый же вечер после его приезда я вошла к нему в кабинет.

— Вот что, папа, — сказала я. — Мне думается, твоя дочь стала биологом не для того, чтобы ровно

ничего не знать о твоих делах. Будь любезен, объясни, над чем ты собираешься работать.

Отец хмыкнул и посмотрел на меня.

— Ладно, — сказал он. — Садись и слушай.

Он тогда рассказал мне о своей работе, сущность которой известна сейчас слишком широко, чтобы о ней говорить. Разумеется, я и раньше слышала о послераневых осложнениях. Я знала о шоке, о газовой гангрене, обо всех этих таинственных и страшных болезнях, которые губят так много людей. Но многое из того, что говорил отец, было мне совершенно незнакомо, многое было неизвестно тогда еще никому. Отец увлекся и говорил долго. Кажется, главное — новизну и смелость мысли отца — я уловила.

С тех пор отец делился со мной всем, что касалось работы над вакциной. Тема была утверждена в Москве, и деньги, которые он просил, ему отпустили. К лаборатории присоединили две комнаты, и там разместилась целая армия крыс, белых мышей и морских свинок. Отец побывал у одного из ответственных сотрудников обкома партии, Плотникова, просидел у него три часа и, как говорил Вертоградский, выжал из него все, что можно, и еще столько же. К весне 1941 года работы уже полностью развернулись.

Отец работал с увлечением, не жалея ни времени, ни сил. Главными его помощниками были Якимов и Вертоградский. Легко объяснить, почему он выбрал именно их. Был у отца один недостаток: он не выносил возражений и споров. Коллектив нужен был ему такой, который бы точно и беспрекословно выполнял все его указания. Поэтому оба помощника очень ему подходили. Старательный, работоспособный и исполнительный Якимов нес на себе тяжелый груз черновой работы. Отец мог быть уверенным, что все впрыскивания будут произведены в положенное время, минута в минуту, что все будет точно записано и ничто не будет забыто. Вертоградский ведал «внешней политикой». Благодаря его напористости и умению оборудованье прибывало день в день, рабочие в срок кончали заказы и никакие организационные трудности не мешали отцу.

Историю поисков вакцины отец рассказал в предисловии к своей книге. Все читавшие эту книгу знают,

что поиски шли долгое время по неправильному пути, что пришлось проделать около шести тысяч опытов, чтобы путем исключения найти единственно правильное решение. Но немногие знают, как тяжело давалось это отцу. Он установил для себя жесточайший режим и не допускал никаких отступлений. Гости совсем перестали у нас бывать, и отец отказывался от всех приглашений. Очень часто он вставал среди ночи и уходил в лабораторию, где постоянно находился Якимов, поставивший свою кровать рядом с лабораторным столом.

Теперь отец был не похож на того сдержанного, всегда спокойного профессора, каким знали его ученики и ассистенты. Он часто выходил из себя, кричал и нервничал.

Помню, как он обозлился на Вертоградского, когда тот вечером на два часа удрал в кино.

— История торопится, — кричал он на него, — а вы по киношкам бегаєте!

С тех пор Вертоградский каждый раз, когда мы садились обедать, замечал строго и нравоучительно:

— История торопится, товарищ Якимов, а вы обедать садитесь!

Очень хорошо помню я первую выздоровевшую крысу. Между нами говоря, она была такая же противная, как и все остальные крысы на свете, но отец, Якимов и Вертоградский находили ее красавицей. Наш старый, заслуженный кот, который верой и правдой служил нам двенадцать лет и считался членом семьи, умер, не дождавшись от отца таких горячих и бурных ласк, какие достались на долю этой мерзкой крысы.

— Смотрите, — кричал Вертоградский, — какая она веселая! Она себя чудно чувствует. Вы замечаете?

Якимов потирал руки и улыбался. Отец чесал крысе спину, что, по-моему, ей вовсе не нравилось.

В тот день мы провели в лаборатории весь вечер и ушли в начале первого часа ночи. Отец привел домой Якимова и Вертоградского и, несмотря на поздний час, приказал накрыть стол и подать все, что есть лучшего в доме.

Налив рюмку, он произнес тост за вакцину:

— Я решил назвать ее «К. В. Я.» — Костров, Вертоградский, Якимов. Пусть каждый из нас чувствует, что

и его доля труда была в этом деле. За успех, товарищи!

Ассистенты были очень довольны. Вертоградский только сказал, что так как и моя доля работы есть в этой вакцине, то следовало бы и меня включить в название. Поэтому его нужно читать так: «Костровы, Якимов, Вертоградский». Все с этим согласилось, и отец даже неожиданно обнял меня и поцеловал — просто так, от хорошего настроения.

Я забыла сказать, что я тоже работала в лаборатории. Кажется, отец взял меня главным образом потому, что на меня, свою дочь, он мог кричать сколько ему угодно. Я мыла посуду, ассистировала Якимову, говорила по телефону, что профессор занят и подойти не может, вела записи и подметала пол, когда уборщица была выходная.

На следующий день после нашего пира к нам приехал Плотников, тот самый работник обкома, к которому обращался отец в затруднительных случаях. Плотников был невысокий, худощавый человек с немного прищуренными глазами. От этого казалось, что он про себя улыбается. Плотникова водили по лаборатории, показали ему знаменитую крысу и насажали такое количество специальных терминов и формул, что у него в глазах появилась растерянность. Плотников сказал, что все нужное будет предоставлено немедленно. Он просил звонить ему по всякому, даже мелкому, поводу и дал, кроме служебного, еще и домашний свой телефон.

Когда Плотников уехал, отец сказал:

— Стыдно! Государственные люди думают, как бы нам помочь, а мы лоботрясничаем.

Теперь каждый раз, когда Якимов закуривал папиросу, Вертоградский говорил ему печально и осуждающе:

— Стыдно, товарищ Якимов! Государственные люди думают, как бы вам помочь, а вы изволите папироски раскуривать.

### III

Наверно, каждый помнит двенадцать часов дня воскресенья 22 июня. Каждый пережил эту минуту по-своему, и каждый запомнил ее на всю жизнь. Нас

застала она за работой. Выходные дни в нашей лаборатории были отменены. Когда радио, принесшее весть о войне, умолкло, отец сказал:

— Пора делать впрыскивание. Юрий Павлович, начинайте! Валя, распорядись, чтобы из дому прислали постели. Мы теперь будем жить в лаборатории. Слишком мало осталось времени, чтобы ходить домой.

С тех пор действительно мы почти не выходили из лаборатории.

Все помнят тягостное напряжение первых месяцев войны. Может быть, единственный человек, который никогда не обсуждал происходящего, а, выслушав очередную сводку, немедленно возвращался к работе, был мой отец. Беспристрастно должна сказать: надо уметь так работать, как работал он в это время. Внешне совершенно спокойный, он делал все возможное, чтобы ускорить работу. Все мы тогда мало спали, и еду нам подавали прямо на лабораторный стол. Использовалась каждая минута. Вертоградский не острил, Якимов не успевал выкурить папиросу. Небритые, с воспаленными глазами, они сидели над микроскопами и работали так же напряженно, как работал отец.

Но как ни экономили они секунды, как ни подгоняли опыты и исследования, события развивались быстрее. За окнами проходили воинские части. Маршировали отряды штатских людей в пиджаках, с учебными винтовками за плечами. Проходили толпы с лопатами и кирками. Гудели самолеты, иногда выли сирены, и люди разбегались по улицам, скрываясь в подвалах и подворотнях. А мы без отдыха впрыскивали вакцину, исписывали десятки страниц, до боли в глазах смотрели в микроскопы, перемывали пробирки и колбы и вновь наполняли их новыми и новыми пробами.

Якимова и Вертоградского не взяли в армию. Об этом попросил отец, и просьбу его беспрекословно уважили. Никого из нас не привлекали к оборонным работам. Делалось все, чтобы нам не мешать. От этого еще острее чувствовали мы невыносимую медленность хода исследований.

В начале июля позвонил по телефону Плотников. Отец взял трубку, долго слушал, потом сказал:

— Слушаю. Буду готовиться. Неделю вы мне даете? Хорошо. Спасибо. Всего лучшего. — И повесил трубку.

Он подошел к столу, за которым до разговора записывал результат очередного впрыскивания, и вновь взялся за свои записи, не обращая внимания на любопытные взгляды ассистентов. Кончив записывать, он аккуратно приложил промокательную бумагу, прогладил ее рукой, закрыл тетрадь и сказал:

— Нашу лабораторию эвакуируют. Надо собираться.

Он замолчал и обвел всех глазами, как будто спрашивая, нет ли возражений. Ассистенты молчали. Молчала и я. Страх и мрачные предчувствия томили меня.

Наш эшелон отправлялся через шесть дней, во вторник. В понедельник мы должны были грузиться. Четыре дня до понедельника нам оставались на то, чтобы упаковать самое необходимое, без чего мы не могли бы продолжать работу в Москве.

Мы разделились. Якимов и Вертоградский укладывали в ящики бумаги, пробирки с пробами, стеклышки с мазками. Ясно было, что увезти всех подопытных крыс невозможно. Решено было взять только несколько, уже находившихся под наблюдением.

Мы с отцом продолжали работу. Отец не хотел терять ни одного дня. До вечера воскресенья мы с ним делали впрыскивания, брали пробы, заканчивали анализы. Якимов и Вертоградский, пыльные и замученные, отбирали нужные записи, набивали ящики, стучали молотками. Было условлено, что машины за нами придут в понедельник утром.

Очень трудно упаковать все нужное, ничего не забыть, ничего не упустить. Ассистентам предстояло работать целую ночь. Мы с отцом тоже собирались не спать до утра. Был важен каждый лишний анализ. А часов в девять вечера прибежала наша уборщица Нюша, перепуганная до смерти. Она рассказала, что очередной эшелон с эвакуированными вернулся, потому что железная дорога перерезана. Толпа двинулась по шоссе и тоже вернулась. Шоссе уже обстреливала немецкая артиллерия. Где-то близко, в лесу, громыхали фашистские танки.

Отец сразу позвонил Плотникову. Долго телефон был занят. Наконец соединили.

— Товарищ Плотников, — сказал отец, — до меня дошли нехорошие слухи. Они верны?.. — Он помолчал,

пока Плотников говорил, потом сказал: — Хорошо, спасибо, — и повесил трубку.

Якимов, Вертоградский и я смотрели на отца и ждали, что он скажет. Но он молча подошел к столу, сел и закурил папиросу.

Я не выдержала.

— Ну? — спросила я.

— Нюша сказала правду, — ответил отец. — Железная дорога и шоссе перерезаны. Мы окружены.

#### *Глава четвертая*

### **ЛАБОРАТОРИЯ УНИЧТОЖЕНА. ПРО НАС НЕ ЗАБЫЛИ. ЧЕРЕЗ ПЫЛАЮЩИЙ ГОРОД**

#### **I**

Сразу остановилась жизнь в лаборатории. Отец подошел к крану, вымыл руки, тщательно вытер их полотенцем и сел у окна. Он ничего не сказал, но всем нам и без слов было ясно, что дальше работать не к чему. Якимов лег на кровать, да так и лежал, куря папиросу за папиросой. Вертоградский побрился — он за последние дни изрядно оброс, — вымыл бритву, аккуратно уложил ее в коробочку и стал ходить по комнате, навсвистывая без конца все один и тот же бравурный марш. Я по привычке разогрела обед, расставила тарелки и позвала всех к столу. Никто даже не отозвался. Суп в тарелках остыл, а второе чуть не сгорело, пока я догадалась снять его с огня.

Вечером прилетели фашистские самолеты. Казалось бы, много я навиделась бомбежек за последние недели, но ничего подобного мне еще видеть не приходилось. Земля тряслась, и дом наш качался, как дерево в ветреную погоду. Свистели бомбы. На столах звенела посуда; в клетках металась и пищали крысы. Занялись пожары. Багровое небо низко опустилось над городом; от горящих домов черными клубами поднимался дым. По улицам пробегали люди; громко плакали дети; надрывались дежурные, пытаясь установить порядок. В комнате было светло от пожаров.

Почему мы не спустились в бомбоубежище, я и сама не могу понять. Вероятно, так сильно было у нас у всех чувство непоправимой беды, после которой не



стоило что бы то ни было предпринимать. Мы ясно чувствовали, что главное, ради чего мы жили, погибло. Бессмысленным казалось о чем-то заботиться и стараться спастись.

Не помню, о чем я думала, что я чувствовала в этот вечер. Помню Якимова, который лежит на кровати и прикуривает папиросу от папиросы; Вертоградского, насвистывающего марш, шагающего назад и вперед, как маятник; помню неподвижный силуэт отца, сгорбленного, с опущенной головой, с острой бородкой клинышком, на фоне красного колеблющегося света в окне.

Сердито ворчали самолеты в небе. Били зенитки. Завывали бомбы. Из окон домов высовывались длинные языки пламени. Потом самолеты ушли. Стало тихо. Только трещали балки в горевших домах, иногда переговаривались люди на улице и где-то, кажется в соседнем переулке, надрываясь плакал ребенок.

Вертоградский подошел к окну.

— Да, — сказал он, — картинка! Что будем делать, Андрей Николаевич?

Отец даже не пошевелился. Вертоградский пожал плечами:

— Конечно, ничего не придумаешь.

В это время Якимов поднялся с постели и аккуратно погасил в пепельнице окурок.

— Надо идти воевать, — сказал он.

— Куда? — спросил Вертоградский.

Якимов удивленно на него посмотрел:

— Как — куда? В ближайшую воинскую часть. Не все ли равно в какую?

— Может быть, вы объясните мне, дорогой товарищ, — сказал раздраженно Вертоградский, — где находится эта ближайшая часть? Как пройти к этой ближайшей части? Может, вы рассчитываете справиться на углу у милиционера?

— К черту! — сказал Якимов и с силой ударил кулаком по столу. — К черту! — повторил он. — Тогда нужно достать гранаты и прямо идти на немецкие танки. Не будем же мы тут сидеть, пока не придут за нами фашисты!

— Вздор, — уныло ответил Вертоградский. — Бессмысленный вздор, Якимов. Где вы достанете гранаты?.. Кстати, для танков, кажется, нужны какие-то особен-

гле. Потом, я слышал, что надо уметь подрывать танки. Хоть недолго, но надо обучаться. Да и где эти танки? Разве мы знаем, откуда они войдут? Мы оторваны ото всех, Якимов. Мы остались одни, а одни мы, к сожалению, ничего сделать не можем. Надо было готовиться раньше. Надо было учитывать эту возможность, а не думать только об анализах и впрыскиваниях...

Он с некоторым раздражением посмотрел на отца, но отец как будто не слышал и сидел по-прежнему сгорбившись, опустив голову.

Вертоградский замолчал и сел на кровать. Теперь, когда самолеты уже не гудели в небе и бомбы не рвались, стало особенно отчетливо слышно, как беспокойно пищат некормленные, возбужденные крысы. Они метались по клеткам, вставали на задние лапы и пищали противным, скрипучим писком.

Вертоградский усмехнулся.

— Насколько их положение лучше нашего! — сказал он, кивнув головой на клетки. — Они, не стесняясь, пищат и мечутся, потому что им страшно. А нам нельзя. Нам не полагается пищать. Мы люди.

Отец поднял голову, посмотрел на Вертоградского и медленно поднялся со стула.

## II

— Надо все уничтожить, — сказал отец.

Мы повернулись к нему.

— Что уничтожить? — спросил, не поняв, Вертоградский.

— Всё. Все следы. Все дневники. Все записи. — Отец был вне себя. — Перебить посуду, чтоб никаких следов не осталось!

— Успокойтесь, Андрей Николаевич, — мягко сказал Вертоградский. — Не надо так волноваться.

Отец махнул рукой:

— Я не сошел с ума. Неужели вы можете примириться с тем, что вся наша работа достанется им?

— Что ж, — сказал Вертоградский, — пожалуй, об этом стоит поговорить. Какой же способ вы предлагаете? Поджечь дом?

Отец покачал головой.

— И без того довольно пожаров. Просто сожжем записи и уничтожим пробы.

Все было невероятно в эту ночь, но слова отца были невероятнее всего. Я выросла и была воспитана в сознании, что нет ничего важнее на свете, чем результат работы ученого. И вот ученый хочет уничтожить работу...

— Ладно, — сказал Якимов. — С чего мы начнем?

— Тише! — сказал Вертоградский. — Слышите?

Мы прислушались. Где-то совсем близко застрочили пулеметы: сначала один, потом несколько.

— Это на Пушкинской или на Садовой, — сказал, вслушиваясь, Якимов.

— Все равно, на Пушкинской или на Садовой, — пожал плечами Вертоградский. — Важно то, что это совсем близко. Если жечь, так жечь сразу.

Не так просто было уничтожить бумаги, заполнявшие ящики. Печки не было: в доме было центральное отопление. Якимов предложил отнести бумаги на улицу и бросить в ближайший горящий дом, но мы отвергли этот проект. За один раз бумаги не унесешь, а бегать взад и вперед слишком долго. Да, пожалуй, и рискованно.

Как ни странно, но сейчас, когда появилась цель, мы стали спокойнее и рассудительнее. Разные проекты, как быстрее уничтожить плоды многолетней работы, обсуждались серьезно и деловито. Со стороны, вероятно, показалось бы, что идет обыкновенное совещание по какому-нибудь не очень важному поводу. Вертоградский даже несколько раз сострил — правда, не очень удачно. Никто не засмеялся. У меня было ощущение, что все это мне только снится. Не может быть, чтобы это было на самом деле, чтобы горели дома, чтобы фашисты входили в город. Не может быть, чтобы мой отец думал о том, как уничтожить свою вакцину...

Наконец решили жечь документацию в умывальнике. Стена около него была облицована кафелем и не могла загореться.

Мы стали таскать из шкафа папки с бумагами. Якимов поднес спичку, и бумаги загорелись. Папки, чтобы не терять времени, мы отбрасывали и жгли только самые записи. Горели они быстро, но умывальник сразу же наполнился черной сожженной бумагой, и горящие листы вываливались на пол. Мы решили выгрести горелую бумагу, но она еще тлела. Надо было ее пога-

силь. Оказалось, что водопровод уже не работает. Пришлось заливать дистиллированной водой, которой был у нас порядочный запас.

Никогда я не думала, что так трудно сжечь много бумаги. Загоревшись, пачки увеличивались в объеме и, как живые, выползали из умывальника. Отец кочергой мешал огонь. Весь в копоти, черный, взлохмаченный, он гыглядел страшно. Он не слушал, когда к нему обращались, он весь был поглощен одной мыслью. Впрочем, все мы говорили и действовали как в дурмане.

— Валя, — говорил Вертоградский, — уберите к дьяволу этих крыс, я не могу слышать, как они пищат!

Он поправил галстук, и я заметила, что у него дрожат руки. Якимов носил бумаги из ящиков. Он был весь покрыт пылью. Он приносил пачку за пачкой и сваливал их у самого умывальника. Черные лоскутья сгоревшей бумаги носились в воздухе и оседали на лица, на платья, на пол.

— Так, — командовал отец. — Ничего, хорошо горит... Юрий Павлович, подбросьте еще сюда: здесь, сбоку, быстрее займется.

Пламя опалило ему ресницы и бороду, но он не замечал этого.

— Папа, — сказала я, — посиди отдохни.

Он не слышал меня.

— Давайте, давайте! — повторял он. — Посмотрите, не осталось ли чего. Надо, чтобы все сгорело, до последней бумажки.

Последняя пачка занялась ярким огнем.

— Эх, — сказал Вертоградский, — погром так погром!

Он подошел к ящику, в котором были аккуратно уложены перенумерованные пробирки, заткнутые пробками, распахнул дверцу и рукой сгреб с полки штук двадцать пробирок.

— Правильно, — сказал отец. — Вы, Юрий Павлович, их на пол бросайте, а я стану топтать.

Вертоградский с отчаянным лицом выбрасывал на пол пробирки и колбочки, а отец тщательно, одну за другой, давил их каблуками. Он кружился и притопывал, и со стороны казалось, что он танцует какой-то неторопливый танец.

Боюсь сказать, сколько времени продолжалось уничтожение. Я, да и все мы, наверно, были как во сне. Долго еще потом виделись мне в кошмарах озаренные пламенем стены лаборатории, Вертоградский, швыряющий на пол посуду, отец, давящий ее каблуками...

— Больше ничего не осталось? — хриплым голосом спросил отец.

— Всё, — сказал Якимов.

— Хорошо. — Отец кивнул головой. — Теперь, по крайней мере, мы можем быть спокойны.

— Ну, — сказал Вертоградский, — для спокойствия особых оснований нет...

Отец не слышал его. Он обвел всех нас глазами.

— Я не могу решать ни за кого из вас, — сказал он, — но лично я думаю кончить жизнь самоубийством... — Он помолчал, потом повернулся ко мне:

— Ты как, Валя?

Голос его дрогнул, и я почувствовала, что он может сейчас заплакать. Я пожала плечами:

— Выбирать не из чего.

Вероятно, если бы я реально представила себе, что я должна сейчас перестать жить, должна умереть, мне было бы очень страшно. Но в том состоянии, в каком мы были тогда, ничего страшного не было и не могло быть. Все проходило мимо сознания.

— Это будет, пожалуй, труднее, чем жечь бумаги, — сказал Вертоградский. — Оружия у нас нет... Веревки? Во-первых, я не знаю, есть ли тут веревки, а во-вторых, это противный способ.

Якимов молча вынул из кармана наган и положил его на стол.

— Я на всякий случай достал, — сказал он, по обыкновению, коротко и спокойно.

— Вы умеете стрелять? — спросил отец.

Якимов кивнул головой.

— Вы нас научите. Я не умею, и Валя, наверно, тоже.

### III

— Подождите, товарищи, принимать такие крайние меры, — сказал кто-то.

Мы обернулись. В дверях стоял человек.

Я не сразу узнала Плотникова. Но, узнав, ничуть не удивилась его появлению. Этой ночью все было необыкновенно.

Плотников стоял в дверях, невысокий, внешне спокойный, с прищуренными, как всегда, глазами. Только на этот раз мне не показалось, что он улыбается. Мы смотрели на него и молчали. Слишком неожиданно было его появление.

— Я уже думал, что лаборатория брошена, — сказал он. — Дверь на лестницу открыта, постучал в комнату — никто не отвечает.

— Шум на улице, — сказал отец таким тоном, как будто жаловался на то, что ему мешают трамваи и автомобили.

Плотников и тут не улыбнулся.

— Судя по всему, — он обвел глазами пол, засыпанный горелой бумагой и осколками стекла, — вы не собираетесь предлагать им свои услуги.

Он помолчал, но никто ему не ответил.

— Надо переходить в подполье, товарищи, — продолжал Плотников. — Ваша вакцина, профессор, нужна гитлеровцам. Вас в покое не оставят...

Он вынул из кармана четыре паспорта и, заглянув в каждый, роздал их нам.

— Вы будете жить в другом районе, — сказал Плотников. — Квартира уже готова. Мы постараемся спасти вас и ваше открытие.

— У меня нет вакцины, — буркнул отец. — Я все сжег, все уничтожил.

— Это все равно пришлось бы сделать. — Плотников посмотрел на часы. — Взять с собой мы ничего не можем. Я вас очень прошу поскорей собираться.

Укладка заняла не больше десяти минут. Плотников поглядывал на часы и, кажется, нервничал, но ничего не говорил. Мы уложили самое необходимое в два рюкзака и два маленьких чемоданчика. Мы были готовы. К этому времени отец пришел в себя. Безумие кончилось. Начиналась новая, необычная, опасная, но все-таки жизнь. Профессор Костров стал снова профессором Костровым. Он откашлялся и сказал:

— Простите, Александр Афанасьевич, но я вам должен задать вопрос. В этой квартире, в которую вы нас ведете, я буду иметь хоть какую-нибудь возможность

работать? Я понимаю, что условия очень сложные, не ведь, кроме научного значения, вакцина сыграет немалую роль и на войне...

Прежде чем Плотников ответил, я отвела отца в сторону.

— Папа, — сказала я ему, — подумай, что ты говоришь! Люди рискуют жизнью, чтобы спасти тебя, а ты начинаешь им предъявлять какие-то требования.

Отец подумал, смутился, подошел к Плотникову и сказал:

— Александр Афанасьевич, я, конечно, сказал нелепость. — И добавил своим обычным, резковатым голосом: — Я очень благодарен вам и вашим товарищам... Ну, пойдемте.

В последний раз мы окинули взглядом лабораторию. В ней остались жженая бумага и битое стекло. Только в клетках по-прежнему металась и пищали крысы.

Отец подошел и быстро одну за другой открыл дверцы всех клеток. Писк прекратился. Крысы прыгали на пол и разбегались, ища нор и щелей. Мы вышли из комнаты.

#### IV

Все вокруг было багровым. Вдоль багровых тротуаров стояли багровые дома, и низко нависало над ними страшное, багровое небо. Вдали били пулеметы. Ударила артиллерия, но выстрелы орудий были не громче треска и грохота пожара. Когда мы проходили мимо недавно достроенного дома ИТР, в нем обвалились междуэтажные перекрытия, и огромные балки падали и ломались, разбрасывая тысячи искр. Жар обжигал, мы задыхались, и лица наши блестели от пота. Но Плотников шел не останавливаясь и все время торопил нас. На отце от уголька стало тлеть пальто, и я погасила его на ходу.

— Скорей, скорей! — кричал Плотников.

Желая сократить путь, мы свернули в узенький переулок. Стена дома, к которому мы подходили, медленно наклонилась, разламываясь на несколько частей, с грохотом рухнула на мостовую и рассыпалась на множество обломков. У меня подогнулись колени, задрожали

руки, и я ухватилась за отца. Он посмотрел на меня. У него были белые губы, но дрожащей рукой он все-таки погладил меня по голове.

— Ничего, ничего, Валя, — сказал он. — Через все это надо пройти.

Я скорее прочла по губам, чем услышала его слова.

— Скорей назад! — кричал Плотников. — Придется обойти кругом.

Мы снова бежали за ним, увертываясь от бревен и камней, падавших из горящих домов, помогая друг другу стряхивать с себя искры, сворачивая в переулки, возвращаясь назад, когда видели, что путь впереди завален рухнувшим домом, задыхаясь и то-ропясь.

— Скорей, скорей! — кричал Плотников. — Скорей, скорей!

Постепенно горящие дома стали попадаться реже. Немцы сильнее всего бомбили центр города. Мы приближались к окраине. Здесь было тише, дома стояли словно мертвые, с наглухо запертыми ставнями. Жители спрятались в подвалах или сидели во внутренних комнатах.

Мохнатый щенок увязался за нами. Размахивая куцым хвостиком, он хватал меня за платье и весело тьякал, а потом отстал, побоявшись, видимо, далеко уходить от дома.

Ясно слышалась пулеметная стрельба, и все чаще щелкали винтовочные выстрелы. Потом мы услышали нарастающий грохот. Отец остановился, прислушиваясь.

— Скорей, скорей! — кричал Плотников.

— Что это? — спросил отец.

— Не задерживайтесь, — повторил Плотников. — Идут немецкие танки.

Мы свернули в подворотню и пересекли большой пустынный двор нового дома. Стрельба и грохот танков доносились сюда издалека. Во дворе росли молодые, недавно посаженные деревца, в квадратной загородке был насыпан песок для детей. Мы перелезли через невысокий забор и оказались в другом, меньшем дворе. Здесь было темней и грязней. Тощая кошка рылась в помойной яме. Она испуганно посмотрела на нас.

Грязноватая лестница вела прямо со двора вниз, в



подвал. Маленький человек в толстовке и белой фуражке шагнул нам навстречу.

— Я уж думал, с вами случилось что-нибудь, — сказал он Плотникову.

— Задержались, — задыхаясь ответил Плотников. — Ключ у тебя?

Человек передал Плотникову ключ.

— Иди к Семену, — кинул ему на ходу Плотников. — Я приду туда.

Все вместе мы спустились по лестнице вниз. Плотников отпер дверь. Мы вошли в темные, тесноватые сени.

— Ну, — сказал Плотников, — на эти дни вот ваша квартира.

### *Глава пятая*

## **ЖИЗНЬ НЕВИДИМЫХ**

### I

О следующих месяцах нашей жизни надо совсем не писать или писать подробно. Но сейчас я рассказываю историю вакцины, а эти месяцы мы над ней не работали. Повесть об этом времени — это повесть о дружбе, о верности, о самопожертвовании. Когда-нибудь я расскажу о людях, которым угрожала смерть, которые голодали, которым нельзя было выйти на улицу, и люди эти думали о том, что есть среди них старик, знающий что-то очень важное для страны, стало быть, этого старика надо спасти.

Каждый человек в городе был на учете. Каждую квартиру обыскивали, на улице у каждого проверяли документы, спрятаться было негде. И ни разу не проверили документы у четырех людей: у отца, у Вертоградского, у Якимова и у меня. И это несмотря на то, что, может быть, никого в городе гитлеровцы так не искали, как моего отца. Им, очевидно, многое было известно о его работе.

В лабораторию они пришли через полтора часа после того, как город был занят. Они обыскали все, простукали стены и подняли полы, допросили нашу уборщицу Ньюшу. Она сделала глупое лицо и наговори-

ла такой ерунды, что на нее махнули рукой. Тем не менее было установлено, что, когда город окружили, мы еще оставались в нем. Значит, мы не могли уйти. Значит, мы еще здесь. Нас искали.

Нам рассказали об этом много позже. В эти дни нас прятали, нас снабжали документами, нам объясняли, как вести себя. Почти каждую ночь мы проводили в другом месте. Пароли, отзывы, явки, неизвестность...

Однажды у отца сдали нервы, и он сказал Плотникову:

— Я так не могу! Черт с ним, пусть меня повесят! Поверьте, что секрет вакцины выдан не будет.

Плотников ответил спокойно и холодно:

— Мы вас спасаем не потому, что вы человек исключительный, а потому, что стране нужна ваша работа. Ведите себя спокойно и выполняйте то, что вам говорят.

Мы ночевали тогда в помещении, где раньше была кустарная мастерская. Стояли станки, какие-то обрезки клеенки лежали на полу. Пусть прочтет Плотников эти строки и узнает, что после его ухода отец целую ночь не спал, ходил из угла в угол и говорил о том, что он обязан выучиться быть спокойным и выдержанным, поменьше думать о собственных переживаниях.

Четырех человек вместе было трудно спрятать, поэтому почти всегда Якимов и Вертоградский жили где-то отдельно. Тысячам людей было гораздо труднее, чем нам, но и нам было нелегко.

Особенно запомнилась мне одна ночь. Это было в начале зимы 1941 года. Мы с отцом ночевали в подвале. Подвал был темен и мрачен. Штукатурка осыпалась со сводов; свет проникал через крохотное пыльное оконце. Здесь когда-то был склад, и в углу лежала большая куча пакли. На этой пакле мы и провели ночь.

Я знала о бешеном и успешном наступлении Гитлера. Отец метался и бормотал во сне, а я лежала и думала: «Неужели действительно кончилось все? Неужели действительно не будет того мира, в котором я выросла, в котором я своя, который я люблю?» В первый раз меня охватило отчаяние. Я чувствовала тяжесть

старых сводов, мучительную тишину подземелья. Неужели не будет воздуха, воли, неба?..

В ту ночь мне казалось, что все уже кончено и что надеяться больше не на что.

А наутро к нам в подвал пришел Плотников. Он сказал, что нас переведут в партизанский отряд, потому что там будет спокойней и безопасней. База отряда помещается в труднопроходимых лесах, и можно надеяться, что немцы туда не проберутся.

Мы засыпали его вопросами. Но он, как всегда, посмотрел на часы, извинился и объяснил, что очень торопится, что завтра придет товарищ, который будет руководить нашим переездом.

Он ушел, а мы без конца строили планы и предположения.

— Может быть, со временем, — неуверенно сказал отец, — когда мы там обживемся, удастся нам хоть немного и поработать.

Я посмотрела на него удивленно. Мне показались нелепыми грандиозность и необоснованность его надежд.

Сутки никто к нам не приходил. Чего только мы не передумали! На следующий день, около двенадцати, когда мы уже потеряли всякую надежду, в подвал вошла женщина.

## II

— Андрей Николаевич, это вы? — спросила отца женщина, как будто бы Андреем Николаевичем могла вдруг оказаться я. — Вот вам костюм, наденьте.

Отец ушел за кучу пакли переодеваться, а минут через пятнадцать оттуда вышел старичок, совсем такой, какие плетут лапти и живут на пасаках. Удивительно, как преобразила отца крестьянская одежда. Он был доволен своим видом и смотрел на меня с некоторой гордостью.

Снова открылась дверь подвала, и вошел Плотников. Он долго поучал отца, как тот должен себя вести. Он заставлял отца ходить, садиться, разговаривать, вдальбивал ему названия мест и фамилий.

— Помните, как называется деревня? — в десятый раз спрашивал его Плотников.

— Божедомовка, — ответил отец.

- Как фамилия старосты?
- Крюков.
- Зачем он вам разрешил идти в город?
- Продать на рынке соленые грибы.
- Правильно, — сказал Плотников. — А деньги где?

Отец вытащил из кармана пачку денег, завернутую в платок.

- А в чем вы несли грибы? — спросил Плотников.

Отец растерянно на него посмотрел. Плотников взял принесенное женщиной ведро и вручил его отцу:

— Вы несли грибы в этом ведре. Вот в нем два груздя, прилипшие к стенкам. И вообще ведро грязное — придете домой, вам его невестка вымоет. Поняли?

- Понял, — отвечал отец.

— Ну, прощайтесь с дочерью. Часов на шесть расстанетесь.

Мы обнялись и поцеловались.

- Счастливо, Валюша... — сказал отец.

Они вышли, за ними закрылась дверь, и я осталась одна. Проходила минута за минутой, я все ждала: вот раздастся крик, выстрелы. Вот узнали отца, его схватили, его ведут... Но все было спокойно.

Целый день просидела я в давящей мучительной тишине. Заскреблась мышь, скрипнула половица. Тишина. Безмолвие. Тишина.

Стало совсем темно. Я посмотрела на часы. Было уже половина седьмого. Мне чудились подозрительные шумы и шорохи. «Случилось несчастье», — невольно повторяла я. Я старалась не думать об этом, убеждала себя: «Вздор, глупости, чепуха!» И все-таки повторяла: «Случилось несчастье, случилось несчастье».

В дверь постучали.

Передо мной стоял большезлазый худой юноша. Глаза его казались непомерно большими на истощенном лице. Мрачный был у него вид. В том настроении, в каком я была тогда, мне показалось, что он непременно должен принести мне весть о несчастье.

- Ну? — сказала я.

Он вошел и притворил дверь. Я повторила:

- Ну?

— Вы готовы? — спросил он. — Пора идти.

— А что с ним?.. С отцом и его ассистентами?

Он посмотрел на меня удивленно.

— Я не знаю, — сказал он. — Я даже не знаю, кто они. Мне поручено только вывести из города Валентину Андреевну. Это вы?

Я нахмурилась. Неужели трудно было послать мне весточку!

— Сейчас я надену пальто, — сказала я.

### III

Мы вышли во двор. Низкие тучи нависли над домами. В сумерках все казалось одинаково серым. От свежего воздуха у меня закружилась голова.

— Нам надо торопиться, — сказал юноша. — Когда мы выйдем из подворотни, он сразу возьмет вас под руку. Ваше дело — просто прятать лицо в воротник и слушать, что он будет шептать вам на ухо. Он как будто за вами ухаживает. Понятно?

Мне ничего не было понятно. Кто это «он», куда он меня поведет, почему он будет за мной ухаживать? Юноша закашлялся. Он кашлял и кашлял и, когда я его попросила объяснить мне подробнее, что я должна делать, только махнул рукой. Кашляя, он нагибался и прижимал руки к груди.

Мы уже вышли из подворотни, а он все еще не мог сказать ни слова. Сразу же меня подхватил кто-то под руку. Я оглянулась. Рядом со мной, повернувшись ко мне лицом и улыбаясь, шел немецкий офицер. Я попыталась вырвать руку, но он держал ее крепко. В отчаянии я посмотрела назад. Юноша стоял, держась рукой за стенку дома, и продолжал кашлять. Офицер потащил меня вперед. Я упиралась.

— Вы обращаете на себя внимание, — тихо сказал офицер. — Неужели вас не предупредили?

У меня отлегло от сердца. Я спрятала лицо в воротник и чуть-чуть отвернула голову, стараясь принять кокетливый вид. Офицер круто свернул в переулок.

Темные и молчаливые стояли дома. Нигде не пробивалось ни одной полоски света. Изредка попадались

запоздалые прохожие. Они торопливо шли, не глядя по сторонам.

Мы проходили через центр и долго шли вдоль пустых кирпичных коробок с большими прямоугольниками оконных проемов. Внутри был навален кирпич и щебень. Причудливо извивались железные балки. Черная копоть покрывала стены. Мой спутник заговорил:

— Вы, кажется, дочь Кострова?

— Да, — сказала я.

— Я немножко знаю вашего отца. Он консультировал у нас в клинике.

— Вы врач?

— Да. Может быть, мы даже с вами встречались. Теперь трудно узнать знакомого.

— Что вы делаете сейчас?

— Врачую. Не стоит вам знать, в каких условиях и как. У вас и своих забот довольноно.

Тощий, лохматый пес выпрыгнул из окна сгоревшего дома. Поджав хвост, он прижался к стене и испуганно следил за нами, пока мы прошли. Два солдата не торопясь шагали по тротуару. Немного в стороне шел их командир — младший офицер или унтер. Наклонившись ко мне, мой спутник смеялся и говорил мне что-то по-немецки, наверно, любезное, потому что вид у него при этом был удивительно залихватский.

Мы прошли мимо кондитерской. Вывеска еще сохранилась.

— Я здесь раньше печенье брала, — сказала я.

Спутник мой рассмеялся.

— Вы хотите сказать, что город здорово изменился? — спросил он.

Я промолчала.

Еще один патруль попался нам навстречу. Унтер окликнул нас. Спутник мой повернулся к нему с таким надменным видом, что тот козырнул и забормотал что-то в свое оправдание.

— Вот преимущество формы СС, — сказал мой провожатый, когда мы прошли дальше.

— Как она вам досталась? — спросила я.

— Очень просто, — усмехнулся он. — Меня допустили работать в госпитале, — разумеется, не врачом, а так, чем-то вроде фельдшера, у них не хватает персо-

нала. Ну, а я украл в цейхгаузе обмундировку. В сочтении со знанием немецкого языка она бывает, как видите, очень полезна.

Мы подходили к окраине. Здесь много домов сохранилось. Кое-где сквозь ставни пробивался свет. Возле большого дома стояло много машин. Дверь непрерывно отворялась и затворялась. Офицеры группами и по одиночке шли к дому и от дома. Спутник мой непрерывно козырял. Он здóрово поднаторел в этом деле, — так лихо щелкал каблуками и подносил руку к козырьку, что сразу чувствовался хороший служака. Ему отвечали, а некоторые ему козыряли первые.

— Так и живем, — сказал он. — До тех пор, пока старшему офицеру не придет в голову окликнуть меня и проверить документы. — Он усмехнулся. — Впрочем, пока, как видите, обходится благополучно. «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю». Правду сказать, я этого упоения не испытываю...

Мы свернули в темные переулки. Маленькие деревянные домики спрятались за заборами. На улицах не было ни одного человека. Как будто вымерли все. Наверно, в давние времена так бывало после чумы. Мы спустились к речке. Когда-то я здесь каталась на лодке. Володя Старичков умел хорошо грести. Сейчас речка замерзла. Дорога вела через небольшой деревянный мост.

— Будьте осторожны, — шепнул мне спутник, и мы спустились к мосту.

Сразу из темноты ударили нам в лицо лучи карманных фонариков. Несколько солдат стояли вокруг нас, и офицер говорил резким голосом. Спутник повернулся к нему и сказал, наверно, что-то смешное, потому что офицер усмехнулся и странно на меня посмотрел. Солдаты расступились. Мы пошли по мосту. Офицер что-то крикнул нам вслед, спутник мой ответил, и оба они рассмеялись. Фонари погасли.

Мы сошли с мостика и оказались за городом. К этому берегу реки лес подступал почти вплотную. Дорога уходила мимо пустых, заколоченных дач под высокие березы и ели.

— Я объяснил моему «коллеге по армии», — сказал мой спутник, — что мы идем в одну из этих дач, где нам

будет очень уютно, и пригласил его в гости, только непременно со своим коньяком.

Я ничего не ответила. Мы шли дальше. Город уже не был виден.

— Как же вы вернетесь обратно? — спросила я. — Патруль ведь заметит, что вы вернулись один.

— Я вернусь через другую заставу. Да если и через эту, никто не обратит внимания, что вас нет. Мало ли что случается с людьми, которых сопровождают офицеры этой армии...

Теперь, когда нас никто не видел, мы пошли быстро. Незачем было притворяться, что мы прогуливаемся. Дорога была темна и пустынна. Молчаливый, темный лес стоял вокруг. С каким наслаждением дышала я лесным воздухом после заключения!

— Как мы странно встречаемся... — говорил мне мой спутник. — Мы даже не знаем друг друга в лицо, мы виделись только в темноте. После войны мы не узнаём друг друга. Правда, я знаю ваше имя. Готовьтесь, после войны я приду к вам в гости. Вы откроете дверь и увидите незнакомого человека.

— Я догадаюсь, что это вы, — сказала я, — вы увидите, что догадаюсь. Я возьму вас за руку и проведу в комнату, и посажу в самое лучшее кресло, и налью чаю. Мы с вами будем сидеть и рассказывать друг другу все, что с нами случилось, потому что мы ведь будем уже старыми друзьями.

— Хорошо бы! — невесело усмехнулся он.

Мы снова замолчали. Высокая береза простирала над дорогой длинные ветки. Около нее мы остановились.

— Мне надо торопиться, — сказал мой спутник, — у меня скоро дежурство. Видите, вот тропинка. Идите по ней. Вас встретят.

Мы пожалли друг другу руки, потом я обняла его и поцеловала.

— До свиданья, — сказал он. — Кланяйтесь вашему батюшке.

Он помахал на прощанье рукой, ушел и почти сразу исчез в темноте. Минуту я постояла, глядя ему вслед.

Много позже узнала я, что этот человек через две недели после нашей встречи был повешен на Базарной площади и что умер он просто и мужественно.



## **НАЧИНАЕТСЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ**

### **I**

Когда я шла по узенькой тропинке, огибая огромные березы, наклоня голову под еловыми ветками, чувствуя, как упруго оседает под ногами снег, счастье переполняло меня. За все эти месяцы я ни разу не чувствовала себя такой сильной и бодрой. Вот задрожала ветка, нечаянно задетая мной, и снег пушистыми хлопьями упал на лицо. Я растерла его рукой, мне было жарко и весело. И снова луч фонарика неожиданно осветил меня. Невысокий человек в куртке солдатского сукна и в ушанке стоял передо мной.

— Скорей, — сказал он. — Вас уже ждут. Правее берите.

Я побежала, спотыкаясь, иногда застревая в снегу. Деревья расступились. Пробиваясь сквозь тучи, луна освещала небольшую полянку.

Вертоградский бросился ко мне, обхватил меня руками и закружил так быстро, что ноги мои летели по воздуху, не касаясь снега.

— Юра, пустите! — сказала я смеясь.

— Не пущу, — сказал Вертоградский. — Умели грустить, умеете и радоваться.

Он наконец поставил меня на снег. У меня кружилась голова. Комок снега ударил в плечо. Якимов стоял передо мной, и даже в полутьме видны были его зубы, так он широко улыбался. Я подбежала обнять отца, такого смешного в своей крестьянской одежде, возбужденного и веселого. Потом, не удержавшись, запустила снежком в Вертоградского, Якимов запустил в меня, и даже отец, что отнюдь не соответствовало его возрасту и ученому званию, запустил снежком в Якимова, но попал не в него, а в какого-то незнакомого человека, торопливо подходившего к нам.

— Здравствуйте, здравствуйте! — говорил этот человек, немного задыхаясь от быстрой ходьбы. — Приехали? Ну и хорошо, давайте знакомиться. — И он стал пожимать нам руки, повторяя при каждом пожатии: — Петр Сергеевич... Петр Сергеевич.

Еще какие-то люди окружили нас. Кто-то говорил, что пора уже ехать; кто-то беспокоился, принесли ли шубы, а то можно замерзнуть в санях; кого-то спрашивали, задан ли лошади овес и положили ли в розвальни сена.

Нас повели к краю полянки. Там стояли широкие розвальни. Всех четверых усадили на них и укрыли ноги овчинными тулупами. Петр Сергеевич присел с одного боку, кто-то еще — с другого. Петр Сергеевич сказал:

— Ну, трогай!

И мы поехали.

Чудесная это была поездка. Лошадь быстро бежала по снежной лесной дороге. С веток сыпался на нас снег. Комья снега летели нам в лицо из-под лошадиных копыт. Тучи разошлись, выглянула луна. Перебивая друг друга, рассказывали мы о своих приключениях. Отец, например, встретил лабораторного сторожа, тот его окликнул, но отец не ответил, и сторож отстал. Якимов и Вертоградский надели комбинезоны грузчиков, нагрузили консервами машину и на ней выехали. А здесь, в лесу, их ждали настоящие грузчики. Машина уехала, они остались одни. Все это было интересно, но уже неважно. Важно было то, что мы здесь все вместе.

Час проходил за часом. Рысцей бежала лошадь. Холод стал забираться под шубы. Зашла луна.

Стало светать. Хотя ночь была на исходе, никому не хотелось спать. Только Петр Сергеевич спокойно дремал, просыпаясь на ухабах и сразу же засыпая снова.

Лес стал мельче. По сторонам дороги мелькал кустарник, тоненькие березы и осины.

— Начинаются наши Алеховские болота, — сказал Петр Сергеевич, проснувшись. — Скоро въедем на гать.

Мы поняли, что это уже район отряда. Дорога стала тряской. Под снегом лежали бревна.

Петр Сергеевич стал объяснять, показывая вокруг:

— Вот это и есть наши болота. Какие бы морозы ни были, они все равно не замерзают. Отойди в сторонку на два шага, и сразу под снегом вода выступит. До войны эти места считались дурными. Тут скот и то выпустить опасно. Попадет животное в топь — и пропало. Уже был составлен план осушения. Канавы должны были начинать рыть. А сейчас, если бы не болото, разве могли бы мы здесь так привольно жить? Сюда ведь

немцы и соваться не пробуют. Чуть что, мы эту гать раскидаем, подорвем, и попробуй пройди!

Нам очень хотелось спросить о другом: что мы будем делать в отряде? Но как-то неловко было. Петр Сергеевич рассказывал, как они строятся, как на сухих местах роют землянки, а теперь решили и срубы ставить.

Незаметно я задремала. Когда открыла глаза, стало уже совсем светло. Лошадь стояла на круглой полянке возле бревенчатого дома с мезонином. Какие-то люди окружили сани.

— Махов, начальник отряда, — сказал, протягивая руку отцу, высокий человек с широким лицом. — А вот, познакомьтесь, мой комиссар.

Комиссар был рябой, широкоплечий человек с ясными голубыми глазами. Он добродушно улыбнулся и помог нам выбраться из саней.

Процедура знакомства закончилась. Широким жестом Махов показал на дверь:

— Заходите, товарищи! Здесь будет ваше жилище.

## II

Мы вошли в обыкновенную деревенскую кухню с огромной свежевыбеленной русской печью. Чугуны разных размеров стояли на полке. В углу, в стеклянном шкафу, переделанном из киота, я заметила тарелки, ложки, стаканы. Махов распахнул следующую дверь. Посреди просторной комнаты стоял грубо сколоченный стол, покрытый холщовой скатертью. Стулья, видимо сделанные здесь же в отряде каким-нибудь неумелым столяром, показались мне громоздкими и неуклюжими. На чисто вымытом полу лежали пестрые половики. Наврядво я заметила еще одну дверь. Прямо против кухни узкая деревянная лестница вела наверх.

— Наверху ваш кабинет, Андрей Николаевич, — сказал Махов.

Теснясь и толкая друг друга, поднялись мы по лестнице.

«Кабинет» представлял собой небольшую квадратную комнату, где стояли две койки, застланные лоскутными одеялами, большой деревянный стол с одним ящиком и три или четыре стула. Одну из стен заняли деревянные полки, заставленные книгами. Я узнала зна-

комые корешки и посмотрела на отца. Он так растерялся, что стоял неподвижно и только щипал бородку.

— Перевезли... — бормотал он. — Каким образом?

Потом он бросился к полкам и стал выхватывать книги, торопливо перелистывать их и даже гладить обложки.

— Ай-ай-ай, — говорил он, — второго тома нет! Как раз самый нужный том... Обложка попорчена... Ну, это ничего.

С трудом я оттащила его от полок. Махов, комиссар и Петр Сергеевич делали вид, что не замечают его волнения.

— Папа, — шепнула я, — нас ждут.

— Да, — сказал Махов, — пойдете, товарищи, мы еще вам не всё показали. Мы поставили здесь две кровати, рассчитывая, что дочери вашей придется спать тоже в кабинете. А вашим ассистентам мы поставили кровати в лаборатории...

Отец резко повернулся к Махову:

— В какой лаборатории?

Махов усмехнулся:

— А вот пойдете посмотрим.

Теперь отец несся впереди всех с такой быстротой, что мы еле за ним поспевали. Вбежав в нижнюю комнату, которую отныне я буду называть столовой, он остановился, растерянно оглядываясь и не зная, куда идти дальше. Махов распахнул дверь, и мы вошли в последнюю, третью комнату нашего дома. Все удивляло нас сегодня, но удивительнее этой комнаты мы еще ничего не видели. Это была действительно лаборатория. Небольшая, очень несовершенная, но лаборатория. На столе сверкала химическая посуда. Поблескивали желтой медью два микроскопа. Возле окна стояли один на другом три небольших ящика с решетчатыми передними стенками. В них копошились морские свинки и, тыкаясь в решетки тупыми мордочками, высматривали, кто пришел и зачем.

Отец, Якимов и Вертоградский бросились к столу. Дрожащими руками перебирали они посуду, вертели в руках микроскопы, пробовали весы.

— Пробирик маловато, — сказал Вертоградский.

— Ничего, ничего, — перебил отец, — хватит. Жалко, ступка только одна.

— Вот еще две, — возгласил Якимов.

Отец был уже у другого конца стола.

— Фильтры ничего... правда, не первый сорт, но годятся. С этим как-нибудь справимся. Глюкозы не вижу.

— Загляните еще в шкаф, — сказал Махов.

Шесть рук, мешая друг другу, открыли дверцы стоявшего в углу самодельного шкафа. На полках теснились коробочки с ампулами, пузырьки и банки.

— Глюкозы надолго хватит! — ликовал отец.

— Шприцы, — широко улыбаясь, говорил Вертоградский, раскрывая одну за другой коробки, — и запасные иглы. Смотрите, Андрей Николаевич, запасные иглы!

Все трое начали показывать друг другу свои находки, радоваться, смеяться, переговариваться. Махов уже поглядывал на часы и улыбался по-прежнему вежливо, но немного напряженно.

Я оттащила отца от шкафа, но он вырвался и подбежал к столу. Ему хотелось скорее испробовать микро-скопы, и я с трудом его от них оторвала. Потом я взялась за Якимова и дотащила его почти до самой двери, но в это время отец снова оказался у шкафа. Тогда я вытолкнула Якимова за дверь, попросила Петра Сергеевича постеречь, чтобы он не вернулся, и решительно повела отца в столовую. Держа в руке какой-то пузырек и сиюсь разобрать надпись на этикетке, он послушно шагал за мной. Вертоградского проконвоировал Петр Сергеевич, и таким образом мы все наконец вышли из лаборатории.

За это время кто-то накрыл обеденный стол. На тарелке лежал нарезанный хлеб, на огромной сковороде дымилась картошка с консервированной колбасой. Махов пригласил нас садиться. Не могу назвать этот первый завтрак в лесу веселым. У отца и Якимова были отсутствующие глаза, и они все время обменивались репликами насчет шприцев, игл, свинок, глюкозы и чего-то еще. По-видимому, они ничего не слышали, когда к ним обращались. Во всяком случае, их приходилось окликать несколько раз, и все-таки они отвечали невпопад.

Вертоградский пытался еще поддерживать общий разговор, но тоже время от времени отвлекался рассуждениями насчет фильтров, мензурок и термостата. Я

изо всех сил старалась развлечь наших хозяев, но что я могла сделать одна!

Как только чай был допит, Махов, Петр Сергеевич и комиссар поднялись. Они поблагодарили нас, как будто мы их угощали. По лицу отца было совершенно ясно видно, что он с нетерпением ждет, когда наконец все уйдут и позволят ему вернуться в лабораторию. К счастью, наши хозяева были люди неглупые, видимо, вполне понимали отца и не обижались.

Мы условились, что Петр Сергеевич будет к нам навещаться и, если что-нибудь понадобится, мы ему сообщим.

Нас пригласили заходить в штаб и вообще чувствовать себя как дома. После этого, торопливо пожав нам руки, наши гости или хозяева, не знаю, как их назвать, ушли. Еще не успела за ними закрыться дверь, как отец сказал:

— Ну, пойдемте, пойдемте! Разберемся, что там есть, чего не хватает.

— Мне кажется, папа, — сказала я, — что следовало бы людям хоть спасибо сказать. Вероятно, не очень легко было устроить на болоте лабораторию.

Отец посмотрел на меня растерянно и вдруг, ничего не говоря, выбежал из комнаты. В окно мы видели: он бежал по снегу и кричал. Махов, комиссар и Петр Сергеевич остановились, отец начал говорить, но вдруг махнул рукой, обнял Махова, расцеловал его, потом расцеловал комиссара и Петра Сергеевича. Затем они смеялись и кричали что-то отцу, а он уже бежал обратно по снежной лесной поляне, маленький, худенький старичок в холщовой рубашке.

Он ворвался в комнату. От него пахло морозом.

— Они ж понимают, — говорил он на ходу, — они ж не обидятся! Ну, идемте, идемте. Время дорого.

До самого вечера все трое возились в лаборатории. Было учтено все до последней мелочи. Всему было найдено свое место. Был утвержден распорядок дня и распределены обязанности.

Мне так и не удалось уговорить мужчин пообедать. Часов в девять вечера, когда уже было совсем темно, я снова накрыла на стол. Надо было все-таки поесть. Мои воззвания оставались без ответа. На меня просто не обращали внимания. Тогда я взяла керосиновую

лампу и вынесла ее из лаборатории. Оставшись в темноте, они долго ругались и требовали света, но я была непреклонна, и мне удалось усадить их за стол. Тогда оказалось, что все ужасно голодно, и обед и ужин были съедены в один присест.

Отец хотел снова идти в лабораторию, но я запротестовала. Он и сам, кажется, почувствовал наконец, что устал. Взяв лампу, он направился к себе в мезонин. Поднявшись на несколько ступенек, он остановился. Стоя на возвышении, держа в руке горящую лампу, он выглядел очень торжественно.

— Вот что, — сказал отец, — я хочу, чтобы вы, дорогие товарищи, запомнили следующее: эта лаборатория — не простая лаборатория. Тут каждая вещь — это, знаете что такое? Ей цены нет. Вы сами понимаете. Так вот, я хочу сказать: если здесь, в этой лаборатории, мы будем бездельничать, работать плохо, с нас за это голову снять мало. Ясно, товарищи?

— Ясно, — сказал Вертоградский, вскакивая и козыряя.

— Понятно, — сказал Якимов.

— Ясно, — сказала я.

— Ну то-то же! — Отец погрозил нам пальцем и медленно стал подниматься по лестнице.

### *Глава седьмая*

## **ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛОДИ ЗАРЕЧНОГО**

### I

Время, прожитое на Алеховских болотах, кажется мне целиком заполненным не прекращающейся ни на один день, напряженной, изматывающей работой. В шесть часов утра вставал отец и прежде всего шел в лабораторию.

— Работать, доценты, работать! — кричал он.

Якимов вскакивал сразу и, быстро одевшись, мчался на кухню умываться. Вертоградский еще лежал, стараясь оттянуть хоть минуту, объясняя жалобным голосом, что все равно ему придется ждать, пока Якимов умоется, и поэтому лучше он еще полежит. Наконец возвращался Якимов, уже совершенно бодрый, раскрас-

невшийся от холодной воды, и Вертоградского с позором извлекали из постели. Унылый и жалкий, тащился он на кухню с полотенцем на плече, жалуясь, что газ опять не горит и нельзя даже принять ванну, что центральное отопление снова испортилось и в доме собачий холод. В это время я уже затапливала плиту и ставила чайник. Вымывшись, Вертоградский становился веселее и после некоторой внутренней борьбы соглашался сходить за водой. Это входило в его обязанности. Якимов колол дрова, а отец подметал комнаты. Он настоял, чтобы в домашней работе ему тоже выделили долю. Пользы от этого было мало, мне все равно приходилось подметать еще раз, так как отец оставлял мусор во всех углах.

В шесть сорок пять садились завтракать. Зимой в это время было еще совсем темно. Завтракали торопливо. Отец смотрел на часы и ворчал, что время уходит даром, что Эдисон спал два часа в сутки и поэтому сделал кое-что в жизни. В семь часов, минута в минуту, он командовал: «За работу!» Ассистенты, дожевывая куски, уныло плелись в лабораторию. Мне давался двухчасовой отпуск на уборку и другие домашние дела.

После обеда час отдыхали. Вертоградский спал как убитый, а Якимов курил, слонялся по комнате или чертил на замерзшем окне круглолицых веселых чертиков. Отец показывался на лестнице с часами в руках: пора! Работа продолжалась до одиннадцати часов вечера.

Помню, как мы услышали по радио сообщение о разгроме немцев под Москвой. В виде исключения в отряде был устроен настоящий пир. Петр Сергеевич, не жалея, отпускал спирт. Под радостные крики одна за другой осушались кружки. Подвыпив, Якимов вдруг загрузил и, плача крупными слезами, стал говорить, что вот, мол, война идет, а его воевать не пускают; потом ему и вспомнить нечего будет, и дети будут его презирать...

Еле-еле мы его довели домой, и дома произошел разговор, который я много раз потом вспоминала. Было это так.

Вертоградский уже уложил Якимова и лег сам. Мы с отцом поднялись наверх и только собрались гасить лампу, как на лестнице раздались неровные шаги. Дверь отворилась, и, слегка покачиваясь, Якимов вошел в



комнату. Хмель еще бродил в нем и не давал ему успокоиться. Мы смотрели на него выжидающе и немного испуганно.

— Я скажу, — начал он и ухватился рукой за стол, чтобы не упасть. — Все равно, я скажу. Не любят Якимова, не знают Якимова. Думаете, я не понимаю, кто из меня человека сделал? Я понимаю. Что я без вас? Нуль. — Пальцем он аккуратно вывел в воздухе нуль. — А с вами? С вами я ученый. Причастен к великому открытию. Я знаю, что вы меня своим не считаете: Якимов — сухарь, молчальник, Якимов — рабочая лошадь. А Якимов не так прост. Когда-нибудь вы узнаете, что такое Якимов. Вы всё поймете, — он всхлипнул, — да поздно уже будет...

Он совсем по-детски вытер кулаком слезы.

Отец редко видел пьяных. Поэтому бессвязные слова Якимова произвели на него впечатление. Он неожиданно встал, подошел к Якимову и обнял его.

— Не огорчайтесь, — сказал он. — Не горюйте. Ложитесь спать, а утром мы с вами поговорим.

Якимов совсем растрогался.

— Вы Вертоградского любите, — сказал Якимов, — а я для вас просто так, ничего. Ну что ж, и не надо. И будет Якимов, непонятый, нести свой тяжелый крест...

У Якимова был такой смешной вид, что я невольно засмеялась. Отец посмотрел на меня строго и недовольно.

— Я Юру тоже люблю, — сказал Якимов растроганно. — Он мне как брат родной.

— Вы это ему сейчас же скажите, — посоветовала я.

— Скажу, — согласился Якимов и, пошатываясь, вышел из комнаты.

Мы с отцом посмеялись и легли спать. Я совсем уже засыпала, когда отец вдруг окликнул меня.

— Ты не спишь, Валя?

— Нет, — сонно ответила я.

Отец приподнялся на постели.

— Якимов во многом прав, — сказал он задумчиво. — Подумай сама: сколько лет работает у меня человек, а что я о нем знаю? В сущности говоря, ничего. Работает и работает. А что он думает, что у него на

душе, ничего я об этом не знаю. Неправильно, неправильно это!

Отец вздыхал еще в темноте, собирался еще что-то сказать, но я уже спала крепким сном.

На следующий день Якимов поглядывал на всех нас с опаской. Он, кажется, нетвердо помнил, что произошло накануне, но мы сделали вид, что ничего не было. Он повеселел, окатился холодной водой и сел за работу.

## II

Жизнь наша была очень нелегкая. Как ни защищали нас топи, угроза нападения висела над нами все время. Вскоре гитлеровцы окончательно выяснили, что отряд базируется на Алеховских болотах. То ли выследили кого-нибудь, то ли кто-то не выдержал на допросе и рассказал. Над нами стали появляться немецкие самолеты. Чувствовать постоянно наблюдающий внимательный взгляд врага было удивительно неприятно. Махов приказал маскироваться. К счастью, наш дом был сверху совсем закрыт кронами высоких деревьев. Штабные землянки тщательно засыпали снегом. Тем не менее два дня бомбардировщики сбрасывали над болотом бомбы. Бросали они наудачу, и все бомбы падали на незаселенные места. Но для всех нас это были довольно неприятные дни.

Карательные отряды с трех сторон стали стягиваться к болотам, и наши патрули завязали бой. Немцы не знали, что Алеховские болота зимой не замерзают. Орудия их застряли, но пехота подбиралась все ближе к сердцу отряда. Первый день боев не дал немцам успеха. Всю ночь партизаны тревожили их автоматной и пулеметной стрельбой. На второй день с утра немцы снова начали наступать и в середине дня подошли к гати. Хорошо, что Махов вовремя приказал ее раскидать. Это было нелегкое дело. Люди стояли по колена в воде, а мороз в то время был градусов пятнадцать. Гать раскидали, но тут нам не повезло: ночью мороз усилился до двадцати градусов, дорога замерзла и стала проходимой.

Я очень ясно помню утро третьего дня. Мы все были в землянке, в которой размещался лазарет. Тогда в

отряде еще не было своего врача, и мы четверо работали за врачей, за сестер и фельдшеров. Бой шел километрах в пяти.

Часов в восемь в землянку вошел комиссар. Раненые лежали вдоль стен прямо на сене.

— Ну, товарищи, — сказал комиссар, — кто себя не так плохо чувствует, давайте собирайтесь. Нуждаемся в помощи.

Ушли несколько легкораненых, Якимов и Вертоградский.

Бой шел весь день и всю следующую ночь. От раненых мы узнавали о ходе событий. К середине четвертого дня немцы продвинулись на пятьсот метров, но к вечеру были отбиты.

Настала черная, безлунная ночь. Этой ночью решалась судьба отряда. Комиссар собрал группу добровольцев. Обвешанные гранатами, они пошли заветной тропкой врагам в обход. Я видела, как, в белых халатах, бесшумно скользя на лыжах, один за другим скрывались они в темноте.

Удар был нанесен в четыре часа утра. Через сорок минут, когда значительная часть немцев была деморализована, наши партизаны перешли в наступление. Если не считать нескольких убежавших гитлеровских солдат, карательный отряд был уничтожен полностью.

Некоторых из наших лыжников принесли на носилках к нам в лазарет, другие вернулись невредимыми, очень многих похоронили на склоне холма, на котором помещался штаб.

Якимов и Вертоградский пришли возбужденные и гордые своим участием в операции. Вместе со всеми выступали и они и даже, рассказывают, шли в первых рядах. Оба были невредимы. Только Якимова пуля царапнула по ноге, но он не обратил на это внимания.

В этом бою убили комиссара. Его принесли на носилках и опустили в братскую могилу.

Все это очень сблизило нас с отрядом. Якимов и Вертоградский заслужили всеобщее одобрение, да и нас с отцом хвалили за то, что мы недели две не вылезали из лазарета и поставили на ноги всех, кроме двух совсем безнадежных.

Впрочем, скоро в отряде появился свой врач, известный в нашем городе хирург, предупрежденный Плотни-

ковым о предстоящем аресте и сбежавший на Алеховские болота. Это был доктор Гушин, хороший старик, ставший впоследствии нашим большим другом.

В марте была налажена радиосвязь с советским командованием, и советские самолеты стали сбрасывать над Алеховскими болотами ящики с боеприпасами, снаряжением и продуктами. Если учесть, какое огромное расстояние было в то время от нас до линии фронта, нельзя не удивляться смелости и умению летчиков. Постепенно в отряде появилось много нужных и важных вещей. У нас была теперь походная типография, и мы выпускали листовки, которые потом разносили по всем городам и деревням. У нас была настоящая радиостанция. Лазарет наш был довольно хорошо оборудован. По просьбе отца прислали кое-что из нужных ему материалов.

### III

Весной 1942 года возник вопрос о нашей отправке на «Большую землю». К тому времени километрах в тридцати от нас был построен партизанский аэродром. Махов предложил доставить нас туда. Отец задал Махову три вопроса.

— Мы вам мешаем здесь? — спросил он.

— Нет, — отвечал Махов.

— Есть непосредственная опасность, что немцы проникнут на Алеховские болота?

— Думаю, что нет.

— А мы сможем вывезти лабораторию?

Махов усмехнулся:

— Конечно, нет. Но в Москве вам создадут другую.

— И все надо будет опять налаживать заново. И во второй раз пропадут начатые уже опыты... — Отец ходил из угла в угол и мрачно пощипывал бороду. — Нет, — твердо сказал он, остановившись перед Маховым. — Я не могу на это пойти. Уж лучше мы будем пользоваться вашим гостеприимством. А когда вакцина будет готова, тогда поедem в Москву.

— Как хотите, — сказал Махов. — Конечно, частенько бывает за вас страшновато, но все-таки я и сам колебался. Пожалуй, действительно лучше кончить работу здесь.

С тех пор к этому вопросу не возвращались. Несколько раз запрашивала Москва о возможности нашей эвакуации, и Махов каждый раз отвечал, что профессор выражает желание закончить работу в лесной лаборатории.

И снова потекли размеренные и одинаковые дни. День за днем брали мы пробы, день за днем вводили иглы шприцев под кожу перепуганных насмерть мышей, день за днем заносил Якимов результат каждого опыта в лабораторный дневник.

Условия нашей работы были очень тяжелыми. Больше всего мешал нам недостаток подопытных животных. Морские свинки служили нам верой и правдой, но опыты требовали жертв, и одна за другой они погибли для пользы науки. Надо было ловить полевых мышей. Так как ни я, ни ассистенты не были мастерами по этой части, отец постарался завязать дружбу с одним молодым пареньком, и тот ему в знак уважения каждый день доставал несколько штук мышей. Однажды Махову понадобилось послать паренька с поручением, но того нигде не могли найти, и Махову объяснили, что, наверно, он ловит мышей. Нам Махов ничего не сказал, но, как нам передали, часа полтора ворчал и сердился.

— В конце концов, — говорил он, — у меня партизаны, а не кошки! Я не понимаю, зачем тогда было отряд создавать? Тогда давайте не будем бить гитлеровцев, и я пошлю отряд ловить мышей.

Паренька вовремя разыскали, но мы перепугались и притихли. Зная о нашей нужде, нам понемногу доставляли мышей, но их было мало и они не очень годились для опытов. Мы страдали от отсутствия самых простых вещей. Материалы, которые в городе можно купить в любой аптеке, здесь просто невозможно было достать.

Отец выдумывал, комбинировал, производил замены. Это требовало энергии, изобретательности, отнимало много времени и затягивало работу.

В сущности говоря, теперь наш отряд был настоящей воинской частью. Каждое отбитое у немцев орудие, пулеметы, снаряды, патроны свозили на болото. Отряд продолжал действовать мелкими группами, совершая внезапные налеты, подрывая составы и склады, нарушая связь, терроризируя гарнизоны. А на болотах, незаметная, невидимая, накапливалась техника. Всю ее

мощь испытали немцы при второй попытке напасть на Алеховские болота. На этот раз Махов оказался хозяином положения. Он заранее проложил гати в новых, неизвестных врагу местах, и ночью на немцев обрушилась лавина огня крупнокалиберных пулеметов и минометов; орудия ударили прямой наводкой. Мало кто из карателей унес тогда ноги.

#### IV

Много приобрели мы за это время друзей и много друзей потеряли. Скольких старых и молодых, веселых или печальных проводили мы в опасный путь! Сколько дней и ночей волновались мы: удастся ли им вернуться, увидим ли мы их снова? Помню, как мы встречали возвращавшихся с операции. Издали еще пересчитываешь: семь человек, а уходило десять. Кто же погиб? Сколько за это время хороших людей не вернулось...

Похудел и постарел отец, осунулся Вертоградский, даже у Якимова, силача и здоровяка, круги усталости легли под глазами. Какой нелепостью звучало у нас слово «отдых»! Разве можно здесь говорить об отдыхе? «Работать, доценты, работать!» День, утро, вечер, короткий сон — и снова пожалуйста в лабораторию, к столу.

Но вот у отца стали веселее блестеть глаза, и порою он с удовольствием потирал руки. Появилась надежда, что мы приближаемся к концу нашей работы. Две маленькие мышки с аппетитом ели крупу и увлеченно грызли дощатые стенки своих клеток. Обе они были поражены неизлечимой болезнью — обеих их вылечила вакцина.

Я вспоминаю воскресный вечер после выздоровления этих мышей. К нам пришло в гости несколько человек. Никогда я еще не видела таким веселым отца. Он много рассказывал, смеялся и даже спел какую-то старую песню, в которой забыл всю середину и половину конца.

Он еще не хотел в тот вечер рассказывать гостям о наших лабораторных успехах, но, может быть, у него был слишком счастливый вид, а может быть, Вертоградский сболтнул лишнее, — во всяком случае, гости догадались, что у нас хорошие новости, пристали с расспросами, и пришлось отцу рассказать об удачных опытах.

Героические мыши были принесены в клетке и поставлены на стол для всеобщего обозрения, а отец поведал о плане дальнейших испытаний вакцины. Около двухсот проверок должна была она пройти, прежде чем быть испытанной на людях. Но события развернулись не так, как мы ожидали, и вакцина была испытана гораздо скорее.

## V

Группа в пятнадцать человек ушла на операцию. Готовился взрыв железнодорожного моста. Командовал группой Володя Заречный, тот самый, который ловил нам в лесу мышей. Теперь Махов доверял ему серьезные задания. На следующую ночь связанные с нашим отрядом крестьяне видели, как мост взлетел в воздух. С часу на час мы ждали наших обратно. На всех тропинках выставлены были заслоны, чтобы встретить их и помочь, если понадобится. Но они не пришли ни в эту ночь, ни в следующую. Только на четвертые сутки девять человек из пятнадцати, измученные, покрытые пылью и кровью, вернулись на Алеховские болота. Идти могли только восемь. Девятого, Володю Заречного, посменно несли на самодельных носилках. Он был ранен в ногу, в живот и в плечо.

Восемь человек пошли отсыпаться, а Володя поступил в распоряжение доктора Гущина. Отец ассистировал ему при операции. На следующий день Володя пришел в сознание, еще через день повеселел и стал просить есть, а еще через день у него подскочила температура. Началась газовая гангрена.

Доктор Гушин постучался к нам в двенадцатом часу. Мы уже легли. Я услышала стук и, накинув платье, побежала открывать.

— Мне нужно Андрея Николаевича, — сказал Гушин.

— Он спит, — ответила я.

— Разбудите его.

Я побежала в мезонин. Отец уже проснулся, услышав голоса и шаги. Я сказала, что его просит Гушин, и он торопливо спустился по лестнице. Ассистенты тоже вышли из лаборатории, так что все мы собрались в столовой.

— Добрый вечер, Василий Васильевич, — сказал отец. — Присаживайтесь, Валя сейчас чаю согреет.

— Андрей Николаевич, — сказал Гушин, — плохо Заречному. Типичнейшая газовая гангрена,

Отец отвел глаза в сторону.

— Бедняга, — сказал он.

Мы все молчали, отлично понимая, о чем хочет говорить Гушин.

— Андрей Николаевич! — сказал врач. Отец молчал. — Андрей Николаевич!..

— Я не могу, — сказал отец. — Вы как врач поймете меня. Это не мыш. Я не имею права.

Гушин подошел к отцу.

— Я не сомневаюсь, что вы согласитесь, — тихо сказал он.

Отец провел рукой по голове и зашагал по комнате. В дверь опять постучали. Якимов пошел открывать. Он вернулся с Маховым. У Махова было очень усталое лицо.

— Согласен? — спросил он у Гушина, ни с кем не здороваясь.

— Не сомневаюсь, что согласится, — ответил Гушин.

Махов подошел к отцу и обнял его за плечи.

— Решайтесь скорее, Андрей Николаевич, — сказал он, — ведь погибает же человек! Подумайте сами, Володька Заречный погибает... Помните, как он вам мышшей ловил, а я еще его изругал тогда?

Махов засопел носом, отошел и стал у окна спиной к нам.

Отец развел руками. Он очень волновался. Он старался застегнуть пиджак, но пальцы так прыгали, что он все не попадал петлей на пуговицу.

— Как вы можете так говорить! — сказал он. — Ведь это же нельзя, ведь это же не проверено, ведь я же могу убить его...

— Вы можете его спасти, — сказал Гушин, — а без вас он умрет обязательно. Я не понимаю, о чем вы думаете.

— Не знаю, не знаю... — забормотал отец. — Это легкомыслие. Это то, против чего я всегда боролся. Это ненаучно,



Махов резко повернулся к отцу. Он заговорил хриплым, немного задышающимся голосом:

— А по-моему, лучше пусть Володя ненаучно выживет, чем умрет по всем правилам вашей науки! Думаете, он стал бы колебаться, если бы вас нужно было спасти?

— Товарищи, товарищи, что вы... — повторял отец. Он очень побледнел, руки у него так и прыгали. — Хорошо. Вероятно, вы правы. Конечно, обстоятельства таковы... Ну что ж, нельзя бояться ответственности.

— Никакой ответственности нет, — сказал Гушин. — Мы все понимаем, что работа не проверена. Но лучше один шанс на спасение, чем ни одного.

— Да, да, — говорил отец, — конечно, вы правы. Я понимаю. Юрий Павлович, приготовьте вакцину и шприцы. Валя, согрей пока чаю. Я немного разнервничался. Мне надо чаю выпить, и я пойду.

Я бросилась разводить огонь. Якимов и Вертоградский уже возились в лаборатории. Гушин сел и закурил папиросу. Махов стоял, глядя в окно, а отец поднялся в мезонин, и мы слышали над головой его шаги. Он ходил, не останавливаясь, из угла в угол.

В эту же ночь Заречному ввели первые двадцать кубиков вакцины. Я присутствовала при этом. Теперь отец действовал уверенно и спокойно, его движения были твердыми и точными, он даже шутил с больным, как будто лечил его давно известным безобидным средством. Володя заснул, а отец сидел возле него до утра, и никакими силами нельзя было уговорить его поигнать отдохнуть.

Впрочем, следующие дни все мы почти не спали. Следует помнить, что в то время совершенно еще была неизвестна дозировка. Отец ввел, по сравнению с принятой сейчас, половинную дозу. Естественно, это ослабило действие вакцины и отдалило результат.

Прошли сутки. Состояние Володи не ухудшалось, но и не улучшалось. Отец не уходил от его постели. С ним вместе попеременно дежурили Якимов и Вертоградский. Я засыпала на часок где-нибудь в соседней землянке, чтобы быть всегда под руками.

Прошел еще день. Володе не становилось лучше.

Поспав час или полтора, я решила пойти узнать новости. Я подошла к лазарету около часу ночи. Ярко светила полная луна, и я сразу заметила фигуру, прижавшуюся к стволу березы. Подойдя ближе, я по спине узнала отца. Он стоял, обхватив ствол дерева. У него вздрагивали плечи, он всхлипывал и шмыгал носом. Я долго не двигалась, ожидая, пока он успокоится. Мне не хотелось, чтоб он видел меня. Отойдя от березы, отец всхлипнул еще раз, потом тщательно вытер платком лицо и спустился в землянку. Я вошла туда минут через пять. Он спокойно сидел и шутил с Володей Заречным.

На третий день улучшения все еще не было. Отец решил ввести двойную дозу. В сущности говоря, это было очень рискованно. Действие вакцины ведь еще не изучено. Все мы понимали отлично, на что идем, но об этом не было сказано ни единого слова. Думаю, что понимали это и Василий Васильевич и Махов. Но теперь отец держал себя совершенно диктаторски. Он не просил, а распоряжался и категорически запретил задавать какие бы то ни было вопросы. Отец сам ввел двойную дозу. Заречный скоро заснул, а отец опять сидел целую ночь, не отходя от его постели.

Утром было уже ясно, что состояние больного улучшилось. Опухоль спала. Больной оживился, попросил есть. Заснул, проснулся и снова попросил есть. Смерили температуру; она была нормальной. Гушин ходил кругами вокруг больного. Он то насвистывал, то напевал, то шелкал пальцами. Отец держался так, как будто ничего особенного не произошло и он все наверняка знал заранее.

— Теперь, Василий Васильевич, — сказал он небрежным тоном, — только питание и покой. Природа сама сделает свое дело.

Он пошутил с Заречным, вежливо простился с Василием Васильевичем и отправился домой. Мы шли за ним, и он всю дорогу читал нам академическую лекцию о действии вакцины, разбирая равнодушно-лекторским тоном историю выздоровления Заречного.

Придя домой, отец попросил меня согреть чаю. Поставив чайник, я поднялась наверх и увидела, что он лежит на постели одетый, в ботинках и спит. Проснулся он только на следующее утро.

**ЯКИМОВ НЕ ПРИХОДИТ К ЗАВТРАКУ**

I

Махов передал по радио в Москву о том, что работа над вакциной закончена и испытана на раненом партизане. Из Москвы последовали горячие поздравления. Еще через неделю Махов пришел к нам.

— Москва приказывает вас вывезти, — сказал он. — Госпитали ждут вашу вакцину.

— Что ж, — сказал отец, — теперь можно. Теперь мне, конечно, самое место в Москве. Знаю я этих производственников, за ними глаз да глаз. Сделают что не так, а я потом отвечай, что вакцина плохая.

С Москвой условились, что самолет вылетит за нами через неделю. За это время хотели проверить аэродром и летчик должен был как следует изучить местность.

Через два дня после нашего разговора к нам зашел Махов и сказал:

— А расстаться нам с вами, Андрей Николаевич, придется завтра.

Насколько во время работы над вакциной отец не хотел никаких перемен, настолько сейчас стремился в Москву. Он очень обрадовался.

— Что, разрешили раньше лететь? — спросил он.

Махов покачал головой:

— Нет, Андрей Николаевич. Простите, что раньше вам не сообщал, но сами понимаете — военная тайна.

Оказалось, что отряд получил приказ о крупной операции. Насколько я поняла из объяснений Махова, речь шла о большом рейде с участием танков и орудий, с большими боями, с временным захватом целых районов. Преследовалась цель деморализовать тыл противника. Кроме того, рассчитывали, что в результате рейда гитлеровцы должны будут оттянуть с фронта значительные воинские части. Теперь эта задача была отряду по плечу.

Вопрос с нашей отправкой был решен. На базе отряда оставались тридцать человек под командой Петра Сергеевича. На аэродроме тоже было достаточное количество людей. Переправить нас на аэродром должен был Петр Сергеевич.

Отряд уходил завтра в ночь. У Махова совсем не было времени. Он только успел расцеловать нас всех, сказать несколько комплиментов по поводу нашего поведения и, не дав нам выговорить и десятой доли того, что хотелось, торопливо ушел.

Весь следующий день был посвящен проводам отряда. Снова осматривали и проверяли орудия, пулеметы. Мы все ходили из землянки в землянку, прощались и помогали сборам. Якимов и Вертоградский чистили оружие. Я пришивала знакомым бойцам пуговицы, штопала дырки на гимнастерках, помогала укладывать вещевые мешки. На этот раз уходившие были совсем особенному настроены. Это была первая крупная операция. Торопились закончить сборы, чтобы успеть еще сыграть на баяне, спеть песню или просто поговорить. Володя Заречный принес нам огромный букет цветов и подарил каждому по трофейной зажигалке, а Якимову, как страстному курильщику, еще и портсигар. Якимов был очень доволен и только жаловался, что портсигар маловат — входит в него шестнадцать папирос, а ему, Якимову, такого количества и на полдня не хватит.

— Друг ты мой сердечный, дорогой Заречный, — сказал Вертоградский, — иди сюда, я тебя поцелую! — Они поцеловались и долго трясли друг другу руки.

Вечером мы прощались со всеми. Отряд собирался под высокими березками на холме. Горели факелы. Уже ушли вперед наши трофейные танки и, подпрыгивая на ухабах, укатились орудия. То там, то здесь вспыхивал смех. Казалось, что весь отряд подвыпил перед дорогой, хотя на самом деле на спиртные напитки был наложен строгий запрет. Нам без конца жали руки. Вертоградский, неизменная душа общества, рассказывал на прощанье какие-то смешные истории, видимо не совсем приличного содержания. Там, где он появлялся, смех звучал особенно громко. Якимов, широко улыбаясь, тряс огромной своей рукой руки товарищей и знакомых. Человек пятнадцать окружили отца, обещали после войны приносить ежедневно по сто мышей и убить всех кошек в области, чтобы мыши спокойно размножились на радость профессору.

Партизаны строились поротно. Три баяниста играли марш. Принаряженные, веселые, щеголеватые становились бойцы в ряды. Когда я торопливо пробежала вдоль

еще нестройных рядов, неся только что зачиненную мной для одного бойца шапку, командиры объявили равнение на меня и рота за ротой такими громopodobными голосами пожелали мне доброго здоровья, что я смутилась и чуть не уронила шапку.

Но вот раздалась команды, Махов стал во главе отряда и отчаянно громким голосом выкрикнул: «Смирно!» Отряд замер. Факелы освещали высокие стволы деревьев и ровные ряды людей. Командир взмахнул рукой, баянисты заиграли походный марш, и отряд двинулся.

Мы долго шли рядом со строем, но постепенно дорога становилась все уже, и мы отстали. Едва были слышны издали звуки баянов, а мимо нас, твердо ставя ноги, кивая нам на прощанье, все шли и шли люди, с которыми мы прожили вместе эти необычные и тяжелые месяцы. Прошли последние ряды. Мы одни стояли на дороге. Где-то в последних рядах высокий тенор затянул песню, ее подхватили, и, медленно затихая, она понеслась над лесом. Потом и песни не стало слышно. Наверно, отряд уже шел по гати.

— Ну, пойдете домой, — сказал отец.

## II

Каким-то небывало тихим вспоминается мне следующий день. Мы проснулись поздно, часов в восемь. Торопиться было некуда. Вертоградский долго валялся в постели, потом мужчины брились, чистились, я неторопливо готовила завтрак. Мне все время казалось, что в доме удивительно тихо. После завтрака отец сел на лавочку перед домом. Якимов отправился гулять. Я вымыла посуду, убрала комнаты и тоже вышла из дому.

С особенным чувством шла я сегодня по знакомым местам. Мне казалось, что я прощаюсь с каждым деревом, с каждым кустиком; скоро жизнь пойдет по-иному, и я, может быть, никогда больше не увижу этих мест...

День был жаркий, солнце пекло. Необыкновенно тихо было вокруг. Я зашла в штаб отряда. И здесь было тоже тихо. Часовые не стояли у входов в землянки, не было привычной суеты. Не бегали люди, не звучали голоса, в отрядной кухне не дымили печи. Иван Матвеевич Волков, старый охотник, грелся на солнышке и

острым ножом строгал кусок дерева. Он, прищурившись, посмотрел на меня.

— Гуляешь? — спросил он. — Тихо-то как стало, чувствуешь?

— Что это вы строгаєте? — спросила я.

— Лодку, — ответил Волков. — Внук у меня в деревне... Не знаю, жив или нет. Может, жив, так вот гостинец готовлю. Все-таки дед не с пустыми руками домой вернется.

Около вещевого склада я встретила Петра Сергеевича. Он был, как всегда, занят.

— Гуляете? — спросил он. — Это правильно. А у меня, понимаете, дела по горло. Говорил Махову: оставь мне хоть человек пятьдесят. Нет, оставил тридцать, да из них половина инвалиды. Вот поди-ка разберись: посты выставлять надо, обед приготовить надо, воды наносить, лошадей накормить. Взятся вещевой склад проверять — мыши, черти, пробрались, две пары сапог испортили. Тоже кто-нибудь должен ответить. А с кого спросится? С Петра Сергеевича.

— Вы теперь главное начальство? — спросила я.

— Да ну! — он махнул рукой. — Начальствовать-то не над кем. Одно огорчение.

Я спустилась с холма и пошла узенькой тропинкой, которая вела по мелколесью к так называемому Кувшинкину озеру. Оно было невелико, почти правильной круглой формы, окружено густыми, непроходимыми зарослями ивняка. Но я знала лаз и, наклонив голову, цепляясь за ветки, пробралась к берегу. Над водой носились нарядные стрекозы, длинноногие пауки бегали по воде. Я села на поваленный ствол. Кузнечик прыгнул ко мне на колени, посидел секунду и ускакал. Я долго сидела, не думая ни о чем, вся отдавшись покою, тишине и блаженной лени. Ветка хрустнула за моей спиной. Я обернулась. Из зарослей ивняка вышел Вертоградский.

— Как жарко и хорошо! — сказал он, сел рядом со мной на ствол и стал смотреть на неподвижную водную поверхность.

Я знала, о чем он будет говорить, и ждала разговора без радости, но и без раздражения. Здесь сейчас, в тишине и покое ясного августовского дня, мне не хотелось ни о чем думать и ничего решать. Мне хотелось

сидеть без конца, смотреть на стрекоз, на суетливых паучков, на белые и желтые головки неподвижных водяных лилий.

— Вы знаете, о чем я хочу с вами говорить? — спросил Вертоградский.

Я кивнула головой. Непреодолимая лень напала на меня. «Ничего, — думала я, — все обойдется. Может быть, я выйду замуж за Вертоградского, и это будет хорошо, а может быть, не выйду, тогда будет что-нибудь другое хорошее».

— Редко бывает, — сказал Вертоградский, — что мужчина и женщина живут вместе почти три года, вместе работают, вместе проводят целые дни до того, как они поженились. Очень редко бывает, что мужчина и женщина, не будучи близки, так узнают друг друга, как знаем мы с вами...

Солнце отражалось в воде. Не отрываясь смотрела я на яркие, ослепительные пятна желтого света, и оцепенение охватывало меня. Только сейчас я почувствовала, как я устала за эти годы. Кажется, труднее всего было бы мне сейчас пошевелиться. И мысли текли ленивые, равнодушные. Так легко было согласиться на то, что предложит мне сейчас Вертоградский... Выйду за него замуж, будем по-прежнему вместе жить — отец, он и я, ничего не надо менять, ничего не надо решать. Все будет так, как прежде.

Желтое пламя лежало на неподвижной воде, яркий свет слепил мне глаза, расплывались разноцветные круги, и я никак не могла сбросить охватившее меня оцепенение.

— Мы не можем с вами ошибиться друг в друге, — говорил Вертоградский. — Я знаю все о вас и вы — все обо мне, поэтому я знаю абсолютно точно, что жизнь без вас станет для меня утомительной казенщиной, бесконечной цепью однообразных дней... Решайте, Валя.

Далеко-далеко звучал его голос — так далеко, будто он сидел не рядом со мной, а где-то в другой земле, в другом мире.

«Ну, вот и все, — думала я, — вот и кончилась первая полоса жизни. Начинается другая. Будем работать в одной лаборатории, после работы вместе ходить домой. Это очень удобно. Вероятно, и отец будет доволен. Просто два сотрудника переехали в одну квартиру».

И тут меня как обожгло всю. «Что я делаю? — подумала я. — Откуда у меня такие ленивые, равнодушные мысли? Почему я должна выходить за него замуж? Ведь это я сейчас только такая усталая. Ведь, наверно, мне предстоит еще полюбить!»

Желтое пламя сверкало на воде, усыпляющее, неподвижное. С трудом я оторвала от него глаза и сбросила с себя оцепенение. Я повернулась и посмотрела на Вертоградского. Он сидел, наклонившись вперед, глядя на меня боязливо и вопросительно.

— Бросьте, Юра, — сказала я, — просто мы с вами одичали здесь на болотах. Три года вы, кроме меня, ни одной девушки не видали, вот вам и показалось, что вы в меня влюблены. Война кончится, станете вы на вечеринках плясать и увидите, что есть девушки гораздо лучше меня.

Он покачал головой:

— Нет, не увижу.

— Ерунда, — сказала я. — Зачем нам с вами жентиться? Мы и так не поссоримся. И пойдемте домой. Мне пора готовить обед.

И следа не осталось от недавней моей лени. Мне стало весело и легко. Я шла по лесной тропинке, а сзади тащился Вертоградский, вздыхая и глядя на меня тоскующими глазами.

— Знаете, Юра, — сказала я, — если вы будете на меня так смотреть, то я, во-первых, не дам вам обеда, а во-вторых, папе пожалуюсь. Что это вы, в самом деле, вздыхаете, как Ленский перед дуэлью! Нельзя же настроение портить людям...

Вертоградский вздохнул еще два или три раза, но, очевидно согласившись с серьезностью моих доводов, успокоился и повеселел.

### III

Вечер в нашей лаборатории прошел так же спокойно, как и день. Все мы были какие-то расслабленные и сонные. Я сидела в качалке, закутавшись в платок, и слушала ленивый разговор мужчин. Отец зевал, молчал, барабанил пальцами по столу и часов в десять пошел наверх спать. Вертоградский и Якимов сыграли две партии в самодельные шашки, потом тоже стали



зевать, и Вертоградский заявил, что, пожалуй, пора ложиться. Желая мне спокойной ночи, он сделал на минуту тоскующие глаза. Я рассмеялась.

— Вспомните, Юра, — сказала я, — что все Ромео на свете страдали бессонницей!

Он посмотрел на меня с молчаливым упреком и поплелся в лабораторию, причем даже по его спине было видно, что он заснет сразу же, как только ляжет в постель.

Я тоже решила лечь.

— Ложитесь и вы, — сказала я Якимову.

— Благодарю, — он покачал головой, — мне что-то не хочется. Пойду еще прогуляюсь, покурю.

Это был уже почти ритуал: перед сном Якимов выходил погулять и выкурить папиросу на свежем воздухе.

— Покойной ночи, — сказала я зевая.

Когда я поднялась наверх, отец спал. Я заснула сразу же, как только легла. Мне ничего не снилось целую ночь — как будто я закрыла глаза и сразу же их открыла. Яркое солнце било в окно. Начался новый день, один из последних дней лаборатории на болоте. Я посмотрела на часы. Было уже девять. Отец еще спал. Это немного меня успокоило. Может быть, Вертоградский и Якимов тоже проспали сегодня? Торопливо одевшись, я побежала вниз готовить завтрак.

В столовой никого не было. Я прислушалась. В лаборатории было тихо. Очевидно, ассистенты еще спали. Я разожгла печь, поставила воду, начистила картошки и, решив, что довольно мужчинам спать, постучала в дверь лаборатории.

— Неужели пора вставать? — раздался сонный голос Вертоградского.

— Половина десятого, Юра!

Из-за двери донесся стон. Я побежала на кухню. Минуты через три раздался шаг. Сонный и недвольный, вошел Вертоградский.

— Все-таки Якимов свинья, — сказал он. — Неужели нельзя сделать товарищу любезность и принести вместо него воды? Я мог бы поспать еще двадцать минут.

— А почему, собственно, Якимов должен вставать? — пожала я плечами.

— Вставать! Он давно уже встал, даже постель убрал.

Вертоградский, вздыхая, стал умываться. Спустился отец. Пока я накрывала на стол, мужчины привели себя в порядок. Вертоградский, уже веселый и бодрый, ходил по столовой и все порывался схватить кусок хлеба с тарелки. Я не давала ему. Я очень не люблю эту манеру хватать куски до того, как сели за стол. Как будто нельзя подождать несколько минут!

— Ждать, ждать! — жаловался Вертоградский. — Давайте тогда завтракать без Якимова. Кто виноват, что он шатается неизвестно где?

До десяти часов мы все-таки ждали Якимова. В десять мы рассердились и сели завтракать. В это время к нам забежал Петр Сергеевич.

— Вы не видели Якимова? — спросили мы.

— Нет, не видел.

— Странно, — сказал отец. — Я думал, что он в штаб пошел.

Вертоградский внимательно оглядел комнату.

— Слушайте, — сказал он, — вы заметили, что нет его пальто?

Пальто Якимова всегда висело на гвоздике у двери. Мы все посмотрели на гвоздик. Пальто действительно не было.

— Двадцать три градуса в тени, — сказал Петр Сергеевич. — Зачем ему понадобилось пальто?

Вертоградский встал, резко отодвинул стул и вышел в лабораторию. Но сразу же появился снова.

— Знаете, — сказал он изменившимся голосом, — Якимов забрал с собой и рюкзак. Как хотите, а глупо, идя перед завтраком прогуляться, брать с собой все свои вещи...

Еще никто из нас ни о чем не догадывался, но предчувствие несчастья охватило нас всех. Мы вошли в лабораторию. Рюкзак Якимова всегда лежал в углу рядом с кроватью, сейчас его там не было. Вертоградский заглянул под кровати и под столы, обвел глазами стены. Рюкзака в комнате не было. Петр Сергеевич нахмурился.

— Все его вещи были в рюкзаке? — спросил он.

— Да. — Вертоградский задумался. — Вы знаете, — сказал он, — Якимов взял не только рюкзак со своими

вещами, он взял и двести штук папирос, которые ему вчера подарил Заречный. Я помню точно, они лежали здесь, на подоконнике.

Мы посмотрели друг на друга. Бледные, испуганные были у всех у нас лица.

— Он зачем-то снял туфли, — продолжал расследование Вертоградский, — и надел болотные сапоги. Я не понимаю: отряд он, что ли, пошел догонять?

Я посмотрела на отца и испугалась. Широко открыв рот, он жадно глотал воздух. Ему было нехорошо.

— Папа, — сказала я, — успокойся, что ты!

Он оттолкнул меня.

— Ключ... — сказал он. — Где ключ от шкафа?

— Как всегда, у Якимова, — растерянно ответил Вертоградский. — Он не передал его вам, Валя?

Большими шагами отец подошел к шкафу, взялся за ручку. Дверца легко подалась. Отец посмотрел на нас; у него перекошилось лицо.

— Отперто! — сказал он почти шепотом и, наконец решившись, распахнул дверцы.

Каждый из нас знал совершенно точно: на второй полке сверху лежит черная клеенчатая тетрадь, и на тетради стоит черная же коробочка. Тетрадь — это лабораторный дневник, в коробочке — ампулы, все наличное количество вакцины, результат работы всех этих лет.

Полка была пуста.

## **ЧАСТЬ ВТОРАЯ**

*(Рассказанная Владимиром Старичковым)*

### **ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР**

#### *Глава первая*

#### **ВЫЗЫВАЮТ К НАЧАЛЬНИКУ. РАССКАЗ ГЕНЕРАЛА ШАТОВА**

##### **I**

Я получил бессистемное образование. Кончив школу в Иркутске, где мой отец много лет преподавал математику, я, по категорическому его настоянию, поступил

в Планово-финансовый институт. Очень скоро убедился я, что вопросы финансирования интересуют меня очень мало. Проучившись год, я поговорил с отцом серьезно, и он согласился, чтобы я переменял учебное заведение. Меня привлекла биология. Любимым учителем у нас в школе был Федор Максимович Удалов, страстный и убежденный естествовед. С ним мы препарировали рыб, лягушек, ужей и всякую другую живность, какая попадала к нам в руки. Летом он ходил с нами за город и рассказывал интереснейшие истории о каждом комаре, каждой гусенице, каждом головастике. Мне казалось, что биология — это и есть настоящее мое призвание.

Я был тогда в том возрасте, когда человеку хочется путешествовать. Я решил покинуть Иркутск. Отец огорчился этим моим решением, но спорить не стал.

— Хорошо, — сказал он, — уезжай. Когда построишь и утвердишься где-нибудь, будем снова с тобой жить вместе.

Обстоятельства сложились так, что в Москву мне не удалось попасть. Я поступил на биологический факультет в большом городе на западе нашей страны.

Сначала я занимался с большим увлечением, однако к концу второго курса меня стали одолевать сомнения. Биология по-прежнему интересовала меня, но не стала самым главным в жизни; очень многое другое интересовало меня не меньше. Но я еще не решался порвать с биологией. «Нет ничего хуже, — писал мне отец, — чем разбрасываться. В каждой профессии много скучного. Надо уметь пройти через это». Я был с ним вполне согласен.

Но, когда я переходил на третий курс, у меня произошел разговор с одним из виднейших наших профессоров, Костровым. Андрей Николаевич спросил меня, заполняет ли биология целиком мою жизнь. Я откровенно ответил ему, что нет, и тогда он прямо и даже довольно резко посоветовал мне уйти с факультета. Я подал заявление с просьбой отчислить меня и уехал в Москву, даже не простившись с Валею, дочкой Кострова, в которую был влюблен. Очень сильно было во мне желание найти свое настоящее место в жизни. Меня томили тревога, неудовлетворенность, жажда перемен.

Я переехал в Москву и поступил на химический факультет МГУ. Я очень много занимался и старался заглушить неустанной работой вновь и вновь возникавшие во мне сомнения. Химия интересовала меня, но мерещилась мне и другая работа, требующая разнообразных знаний, постоянного напряжения мысли, встреч с людьми. В общем, я сам не знал, что мне мерещилось. Чтобы приработать немного денег, я поступил лаборантом в лабораторию угрозыска. Им нужен был человек, знакомый с основами химии. Я пришелся ко двору. Оказалось полезным и знакомство мое с биологией и даже знание бухгалтерии. Меня увлекла работа в лаборатории. Постепенно я все реже и реже ходил в университет и был наконец оттуда отчислен. Отец написал мне очень сухое письмо. «Боюсь, — писал он, — что из тебя растет лоботряс». Но тут я с ним не был согласен. Мне казалось, что я наконец-то нашел, что меня по-настоящему интересует. По вечерам я ходил на курсы иностранных языков и кончил их. Я хорошо изучил английский и немецкий.

Года два я проработал в лаборатории, пока начальство не обратило на меня внимание и не выдвинуло на следственную работу. Мне пришлось заняться некоторыми специальными дисциплинами, но и все ранее мной изученное пришлось очень к месту на новой моей работе. Я почувствовал, что нашел то дело, о котором мечтал.

Я проработал на новом месте недолго, и началась война. Я не подлежал мобилизации. Даже в ополчение меня отказались взять. Я очень рвался в армию и чуть ли не ежемесячно подавал рапорты по начальству. Мой начальник, генерал Шатов, аккуратно писал на каждом рапорте: «Отказать». Я понял, что меня все равно не отпустят, и рапорты подавать перестал — примирился с тем, что так и останусь тыловиком, так и не побываю на фронте. Работать приходилось много. Я довольно успешно провел несколько интересных дел и мог, пожалуй, сказать, что время свое не потратил даром.

И вот однажды, в августе 1942 года, меня вызвали к генералу. Был уже вечер. Шатов ходил по большому своему кабинету.

— Садитесь, Старичков, — сказал он, кивая на кресло. — Курите, если желаете.

— Я сел. Что-то в тоне генерала заставило меня сразу почувствовать, что разговор будет не совсем обыкновенный.

## II

Все же я очень удивился, когда Шатов, опустившись в рядом стоящее кресло, спросил:

— Слушайте, Старичков, как звали того профессора, который заставил вас уйти с биологического факультета?

Когда-то, когда меня принимали на работу, я подробно рассказывал Шатову свою биографию и упоминал об этом случае, но никак не думал, что он это помнит.

— Костров, — сказал я.

— Андрей Николаевич?

— Да.

— Значит, у вас были с ним скверные отношения?

Я удивился:

— Нет, почему? Обыкновенные, как у студента с профессором. Зачет я ему сдал хорошо, и он даже меня похвалил.

— Но он помнит вас или нет, как вы думаете?

— Не знаю. *Он*, может быть, и забыл.

Я вспомнил о Вале и невольно подчеркнул, что забыть меня мог только он, то есть сам Костров. Шатов почувствовал это и сразу насторожился:

— Почему вы подчеркиваете, что *он* забыл?

— Да нет, Иван Гаврилович, — сказал я, смутившись, — просто так. Я немного ухаживал за его дочерью и думаю, что, может быть, она меня помнит.

Шатов посмотрел на меня, наклонив голову:

— Об этом вы мне не рассказывали.

— Я не думал, что это может вас интересовать.

— Конечно, — согласился Шатов. — Это и не могло интересовать меня.

Он задумался. Я положительно недоумевал, почему вдруг возник этот разговор.

— А с тех пор вы не виделись с Валентиной Андреевной и не переписывались с ней? — спросил Шатов.

— Нет.

Меня поразило, что он знает даже ее имя.

Шатов, помолчав, сказал:

— Я только потому задаю вопрос, что он важен для дела: ваше внутреннее отношение к ней сейчас такое же, как и прежде?

Я еще больше смутился. Кабинет начальника не место для таких разговоров, и, кроме того, все это было очень неожиданно.

— Дело давнее, Иван Гаврилович, — сказал я. — Я в то время был очень молод. Да и она девчонкой была. Что ж, ей тогда двадцати лет не было.

— Ну хорошо, оставим это. Значит, вы с тех пор, как бросили биологию, совсем потеряли Костровых из виду?

— Совсем потерял. Только перед войной прочел в газете, что он делал доклад на коллегии Наркомздрава о какой-то своей вакцине.

— А вы знаете, что это за вакцина?

— Нет, в газете ничего не говорилось.

— Я сегодня поинтересовался этим делом, — сказал Шатов. — Я не биолог. Вы лучше поймете. Речь идет о послераневых осложнениях.

— Газовая гангрена, шок и так далее? — спросил я.

— Вот-вот. Вы, значит, знакомы с этим вопросом?

— Очень немного.

— По-видимому, это очень важно. Кроме того, сама история открытия — одна из самых странных историй нашего времени. Но об этом после. Какие вы ведете сейчас дела?

Я перечислил.

— Придется их передать другому.

— А мне вы поручите новое дело?

Шатов рассеянно посмотрел на меня и слегка кивнул головой.

— Совершенно очень странное преступление, Старичков, — сказал он, задумавшись, и повторил: — очень странное. Обстоятельства складываются так, что его необходимо раскрыть молниеносно. В один... ну, в два дня. Условия работы будут не совсем обычные. Вы когда-нибудь прыгали с парашютом?

— Нет, не приходилось.

— А боитесь?

— Думаю, что испугаюсь.

— Жалко. Придется прыгнуть. Но я расскажу по

порядку. Слушайте внимательно. Вам нужно знать все подробности.

Я и так уже слушал, боясь пропустить хоть слово.

### III

Долго рассказывал Шатов историю работы Кострова. В то время мы очень мало знали о том, что происходит на оккупированной территории. Еще не были опубликованы очерки и воспоминания участников этой беспримерной борьбы, которая велась, не прекращаясь ни на минуту, на земле, захваченной гитлеровцами. Мы плохо еще тогда представляли гигантские масштабы этой борьбы. Удивительно для меня звучал этот рассказ о долгих месяцах, прожитых под самым носом у бдительной немецкой полиции, о великой армии друзей, невидимых для немцев, — друзей, которые были везде, в каждом доме, на каждой улице. Шатов сам увлекся рассказом. С восхищением говорил он о Плотникове и о неведомых людях, которые приносили Костровым пищу, доставали одежду, спасали от регистрации и вывели их наконец из города.

Удивительно было мне, сидя в этом кабинете, слушать о бурной судьбе так хорошо знакомых мне людей. Никак не мог я себе представить старика Кострова, собирающегося идти воевать вместе с отрядом, да и Валя, всегда хорошо одетая, до щеголеватости аккуратная Валя, от которой так и веяло устойчивым покоем хорошо обставленной профессорской квартиры, не казалась мне способной к поступкам, требующим решительности, физической выносливости и силы. Я сказал об этом Шатову. Он усмехнулся.

— Вы еще много занятного услышите о ваших знакомых, — сказал он и продолжал рассказ.

Место действия изменилось. Теперь это были глухие Алеховские болота, непроходимые тропинки и заросли. Теперь это был дом, притаившийся под деревьями в дикой глуши, лесной дом, в котором сверкали микроскопы, позвякивали пробирки и колбы, горели спиртовки.

Не удержавшись, я перебил Шатова:

— Простите, Иван Гаврилович: откуда вам так хорошо известны подробности?

— Я сегодня полдня занимаюсь этим делом, —



ответил Шатов. — Кое-кто из людей, помогавших Костровым, сейчас находится здесь в Москве. Помощник Плотникова, которого после ранения эвакуировали, рассказывал мне сегодня, как все это происходило. Двое партизан лежат сейчас в госпитале в Москве, и я ездил к ним.

Шатов рассказал о попытках гитлеровцев проникнуть на болота, о боях, которые шли в нескольких километрах от лаборатории, и о том, как вакцина была наконец готова и переезд Костровых стал вопросом дней.

Шатов достал папиросу, закурил и несколько раз быстро и глубоко затянулся. Тихо было в кабинете. Тихо было, кажется, и во всем здании. Разошлись сотрудники и посетители; только кое-где сидели запоздавшие следователи, которые вели дела слишком сложные или слишком спешные, чтобы можно было уложиться в рабочее время. Спокойно тикали в углу высокие старинные часы, и маятник ходил взад и вперед монотонно и ровно. И совсем не похож был сегодняшшний разговор на обычный разговор у начальника.

Шатов был человек суховатый и деловой. Подчеркнуто прозаично звучали всегда его указания и советы. Когда молодой, неопытный следователь, пораженный кажущейся таинственностью преступления, начинал фантазировать и договаривался до совершенно нелепых предположений, Шатов, махнув рукой, говорил «романтика», и это звучало так же пренебрежительно, как у других «ерунда». Но сегодня непривычные интонации слышались в его голосе. Кажется, его самого взволновала и увлекла история профессора Кострова.

— Можно себе представить, — говорил Шатов, — какое настроение было в лесной лаборатории. Казалось, что все тяжелое позади. Работа кончена, создано новое лечебное средство, впереди Москва, безопасность, нормальная жизнь. Приближалась к концу замечательная эпопея. Но этой ночью произошло событие, перевернувшее все: исчез Якимов, захватив с собой все наличное количество вакцины и лабораторные дневники. Все, в чем вещественно выражалось открытие Кострова, похищено.

У меня появилось необычайное чувство. Казалось мне, что я вновь стал мальчишкой. Вечер. Все кругом

уснули, я читаю роман про удивительные приключения, и жутко мне, и подозрительными кажутся шорохи и шумы в тишине спящей квартиры.

Тикали часы, спокойно было в кабинете. Шатов затянулся в последний раз и погасил папиросу.

— Утром мне передали радиogramму об этом, — сказал он, — и я связался по радио со штабом отряда. Со мной разговаривал некто Петр Сергеевич. Это у них что-то вроде главного интенданта. Насколько можно понять, он чаще всех общался с Костровыми. Он довольно толково изложил обстоятельства дела.

Шатов коротко рассказал мне об исчезновении Якимова. Мы помолчали оба, потом Шатов меня спросил: — Что же вы думаете, Старичков?

— Надо посмотреть на месте, — ответил я.

Шатов кивнул головой:

— Вы правы. Но некоторые соображения я хотел бы все-таки высказать сейчас. Прежде всего встает вопрос: Якимов вор или жертва? По-видимому, он преступник. Трудно допустить, что, убив Якимова, кто-то вошел в дом, взял все его вещи, пальто и даже папиросы. Надо предположить, что он старательно подготовил похищение и побег. И вот тут-то есть одно непонятное обстоятельство... — Шатов наклонился ко мне и положил руку на мое колено. — Давайте разберемся. Якимов работает у Кострова несколько лет. Он свой человек в доме у профессора и в лаборатории. Неужели не мог он скопировать лабораторный дневник и спокойно, днем, на глазах у всех выйти из дому, дойти, прогуливаясь, до постов, поболтать с постовыми и, не вызвав никаких подозрений, добраться до дороги, до немецких постов, до города? Ведь он же свой человек в отряде, можно сказать, заслуженный партизан. Разве придет в голову часовому задержать его? Дневники на месте, Якимов исчез. Бедный, неосторожный Якимов... Наверно, он попался немецкому патрулю. Да ведь пока догадаются, что он предатель и вор, он уже будет в безопасности! Так подсказывает простой и точный расчет. Но он действует иначе. Он выбирает самый опасный путь. Он похищает ночью вакцину и дневник. Из-за этого он вынужден ночью же пробираться мимо постов, рискуя быть застреленным.

Шатов подался вперед. Головы наши сблизились.

Мне казалось естественным, что он говорит полупшепотом.

— Непонятно то, Старичков, — тихо сказал Шатов, — что преступник забыл даже о собственной безопасности.

Шатов откинулся на спинку кресла и вопросительно смотрел на меня. Я молчал. Я представил себе тридцать человек — стариков, женщин, и раненых, и Валу, и Кострова — на глухом болоте, окруженных со всех сторон врагами. Я представил себе, что где-то там, на болоте, совсем рядом с ними, прячется хитрый, злобный, до бешенства ненавидящий их всех человек, и мне стало нехорошо на душе.

— Я боюсь за них, Старичков, — сказал Шатов. — Когда карательный отряд подходил к болотам, это, наверно, было страшно, но, быть может, еще страшней один человек, который прячется в самом сердце отряда, который может оказаться за каждым деревом, за каждым кустом. Вспомните, он знает всё: все дороги и тропинки, все входы и выходы. Он знает обычаи, внутренний распорядок, даже характеры всех людей. А его, хотя он жил с ними годы, никто не видел без маски. Подумайте, что может наделать такой человек.

— Как я буду туда добираться, — спросил я, — и когда я смогу там быть?

Шатов посмотрел на часы:

— Через двадцать минут вы сядете в машину. На полчаса можете заехать домой, но с тем, чтобы в десять быть на аэродроме. Самолет вылетит в одиннадцать. В три часа ночи вы будете над Алеховскими болотами. Вам придется прыгнуть с парашютом. Револьвер у вас есть?

— Есть.

— Какой?

— Наган.

— Так. Непременно возьмите с собой фонарь. На земле вас будут ждать. Трудно точно сказать, где вы приземлитесь. Встречающие могут оказаться далеко. Тогда сигнализируйте фонарем. Три коротких, длинный и снова короткий. Вы запомните?

— Да.

— Когда к вам подойдут, спросите: «Где тут живет интендант?» Вам ответят вопросом: «Вы про Петра Сер-

геевича говорите?» Тогда подпускайте спокойно. Запомните?

— Да.

— Хорошо. — Шатов внимательно посмотрел на меня. — Это трудное и важное дело, Старичков. В госпиталях ждут вакцину. От вас зависит многое. Вы должны поймать Якимова, но, если он успеет уничтожить лабораторный дневник, дело будет наполовину проиграно.

Мы простились. Когда я выходил, Шатов окликнул меня:

— Подождите, Старичков...

Я остановился.

— Мы с вами развили одно предположение. Может быть, оно убедительно, но мы располагаем очень неполными данными. Люди бывают неточны в рассказах, поэтому проверяйте все сами. Я хотел только, чтобы вы уяснили, какое это серьезное и трудное дело. Все, кроме этой мысли, выкиньте из головы. Изучайте тщательно материал и больше всего бойтесь предвзятости.

— Хорошо, — сказал я и вышел из комнаты.

#### IV

Пока я торопливо передавал неоконченные дела своему товарищу, звонил по телефону, возился с ключами — словом, занимался обычной предотъездной суетой, мне некогда было подумать о предстоящей работе. Но вот наконец все сделано, и, кажется, ничто не забыто. Я сажусь в машину и еду домой по темным московским улицам.

Стыдно сказать, но первое, о чем я вспомнил, немного отдышавшись и придя в себя, это о том, что мне придется сегодня ночью прыгать с парашютом. Не радовала меня эта мысль... Я боюсь высоты. Даже на балкон выше третьего этажа я не могу выйти без неприятного стеснения в груди. А тут не этаж какой-нибудь, а черт знает какая высота, и с этой высоты вдруг взять да и прыгнуть! Я решил пока что не думать об этом, чтобы не портить себе настроение. Думать-то я не думал, но червячок все время сверлил внутри. Смешно! Летит человек в немецкий тыл выполнять ответственное и трудное поручение, а волнует его ерунда какая-то — прыжок с парашютом, то, что и до войны

любители спорта проделывали без всякой нужды, ради одного удовольствия.

Я вбежал в комнату и стал торопливо собираться. Конечно, исчезла зубная щетка, конечно, мыла не оказалось на месте, а расческа завалилась за кровать.

Перед тем как уйти, я окинул взглядом свою неуютную комнату. Узкая кровать, которой скорее подходит название «койка», закрытая жестким шерстяным одеялом, стол с чернильным прибором из пластмассы, книжные полки да два стула, вот и вся обстановка. Даже занавески на окне не было, даже шкафа. Белье лежало в чемодане под кроватью, а два костюма, завешенные простыней, висели прямо на стене. На книжных полках стояли книги, которые не представляли большой ценности, но мне были интересны: отчеты о знаменитых процессах, речи адвокатов и обвинителей, несколько работ по криминалистике, — у меня подобралась неплохая библиотека. В углу лежали гантели, и на гвоздике висели боксерские перчатки. Даже шахматы, старые, поломанные, исцарапанные, с катушкой от ниток вместо ладьи и оловянным солдатиком вместо слона, вызвали во мне теплое чувство. Я их таскал с собой от самого Иркутска.

У меня не было времени предаваться лирическим размышлениям, пора было ехать. Я надел теплую куртку, подумал, что в ней будет мягче падать, усмехнулся и вскочил в машину.

Темные улицы поплыли назад. Мигали пестрые огоньки семафоров, зажигались и гасли полузакрытые щитками фары. Москва была военная, затемненная, и все же привычная, живущая установившейся жизнью. У кинотеатров толпился народ; милиционеры взмахивали палочками; пары стояли у калиток и, кажется, целовались; за затемненными окнами люди пили чай, занимались, читали газеты. И подумать только, что через несколько часов я окажусь совсем в другом мире, где каждый шаг опасен, где приключения — повседневность, где люди ведут днем и ночью отчаянную борьбу, где ошибка, неосторожность означают смерть...

Теперь я понимаю, что представлял себе жизнь отряда, по существу, верно, но слишком романтично. Надо учесть, что я ни разу не был на войне. И снова мне пришлось взять себя в руки.

«Ты едешь не за приключениями, — сказал я себе, — а в служебную командировку. Вот и подумай, как ты будешь работать».

Я стал вспоминать рассказ Шатова. Шаг за шагом припоминал я историю профессора Кострова, старался представить во всех подробностях, как жили Андрей Николаевич и Валя, Якимов и Вертоградский, как они скрывались в городе, как перебрались в лес, как работали в лесу. Но ничего, кроме вредной предвзятости, нельзя ждать от размышлений следователя, осведомленного о деле в общих чертах. Поэтому я отогнал от себя мысли о предстоящем следствии. Больше мне не о чем было думать, я стал думать о Вале и не заметил, как приехал на аэродром.

## *Глава вторая*

### **ПРЫЖОК В БОЛОТО. «ГДЕ ТУТ ЖИВЕТ ИНТЕНДАНТ!»**

#### **I**

На аэродроме меня уже ждали. Летчик, здоровый молодой парень, посмотрел на меня с любопытством и, пока оформляли документы, успел выяснить, что я никогда с парашютом не прыгал. Это почему-то очень его рассмешило. Он позвал своих товарищей, таких же здоровых, широкоплечих парней, и все они качали головами, смеялись и удивлялись.

Мне прикрепили парашют, долго объясняли, как прыгать, давали советы и сочувствовали, что без подготовки приходится совершать такой сложный прыжок.

Потом мы вышли на темное поле аэродрома. Начальник аэропорта шел впереди с фонарем в руке, и светлое пятно плыло по ровной, поросшей травой поверхности. Темный самолет неожиданно вынырнул из темноты. Летчики стали наперебой жать мне руки, и я вспомнил еще раз, какое сложное и опасное путешествие мне предстоит.

Я влез в машину. Загудели винты. Группа людей, освещенная неясным светом фонаря, умчалась назад,

и машина пошла ровно, без толчков. Мы отделились от взлетной дорожки.

Москва была уже далеко позади. Мы летели на запад. Темная и пустынная лежала подо мной земля, как будто это одна из холодных планет, летящих в мертвом звездном пространстве. С трудом я представил себе, что в этой сплошной темноте скрывается напряженная жизнь многих тысяч людей, деревень, сел, городов. Я подумал, как, в сущности, противоестественно то, что людям приходится прятаться на своей собственной планете.

Мы поднимались все выше и выше. В лунном свете сверкали озера и реки; порой я видел отдельные светящиеся точки: незатемненные фары или окна, костры, разложенные в лесу. Призрачными казались города. Они лежали внизу, как развалины, озаренные луной. Мне вновь показалось, что уже остыла земля, вымерло все живое и мертвые здания напоминают о людях, когда-то населявших планету. А мы поднимались выше и выше, как будто отправились в межпланетное путешествие.

Скоро я увидел фронт. На земле фронт — это пространство. Отсюда он казался линией. Пылали пожары; яркие зарницы вспыхивали и гасли. С огромной высоты, на которую мы поднялись, не было видно подробностей — только неширокая полоса вспышек, пожаров, ярко освещенных пятен. Далеко под нами рвались снаряды зениток, мелькали трассирующие пули. Вдали неожиданно загорелся неизвестный самолет и, пылая, помчался вниз.

Полоса фронта проплыла назад. Теперь под нами были враги. Как-то сразу самолет показался мне удивительно неверным и нестойким сооружением.

Здесь тоже было темно. Чем-то это мертвое пространство напоминало фотографию луны. Такие же резкие тени от возвышенностей, освещенных холодным, мертвенным светом.

Мы пошли на снижение. Под нами был лес. Мелькнуло лесное озеро, за ним другое. Летчик обернулся, улыбаясь кивнул мне головой и прокричал что-то неразборчивое. Желая показать, что настроение у меня хорошее, я улыбнулся тоже, но боюсь, что улыбка вышла довольно жалкая. Летчик упорно смотрел вниз. Я понял, что он ищет посадочные сигналы. Стараясь вну-

шить себе ощущение зрителя, созерцающего интересный пейзаж, я тоже стал вглядываться в неясные контуры озер, дорог и речек.

Я знал, что мы должны искать три костра, расположенные треугольником. Все время я их искал и все-таки, когда увидел, они были уже под самым самолетом. Три костра, три светлые точки в пустынном, темном лесу. Самолет сделал круг. Летчик опять обернулся и подал мне сигнал — пора вылезать на крыло. Вид у него было удивительно веселый и бодрый. Понимая, что нельзя задумываться ни на одну секунду, я быстро вылез на крыло. Страшный ветер нажал на меня — именно нажал, иначе не назовешь. Почувствовав, что если на секунду задумаюсь, то уже ни за что не решусь прыгнуть, я закрыл глаза и начал падать.

## II

По-видимому, я дернул кольцо, хотя совершенно не помню этого. Парашют раскрылся, и сразу же бесследно исчез страх. Мне стало весело — наверно оттого, что самое страшное было уже позади.

Я смотрел на землю, быстро приближавшуюся ко мне. Как я ни оглядывался, костров нигде не было видно. Я уже различал внизу под собой редкий молодой лесок. Самолет проревел совсем близко: летчик проверял, раскрылся ли парашют и все ли со мной в порядке. Хотя я знал, что он не может меня услышать, я закричал все-таки: «До свиданья, спасибо за доставку!»

Самолет взмыл и сразу исчез куда-то. Посмотрев вниз, я удивился, как близко уже подо мной земля. Навстречу летел молодой кустарник. Меня ударило о маленькую березку и поволокло по земле. Припомнив все указания, я подтянул стропы, задержался и освободился от ремней. Я был на земле, на маленьком острове, затерянном среди враждебного моря.

Вокруг было пустынно и тихо. Сонно заверещали птицы, потревоженные моим падением, и снова заснули. Ухнул филин. Ветерок прошелестел в листве. Только сейчас я заметил, что в сапоги мои набралась вода и одежда промокла насквозь. Вода хлопала под ногами, при каждом шаге проступала сквозь траву. Я сделал шаг и провалился по колена. «Э, тут надо быть осторожным! Обидно будет потонуть в грязи».



Я был так возбужден и необычностью места, где находился, и предвкушением предстоящей работы, что не чувствовал никакой усталости. Мне совсем не хотелось спать. Достав фонарь, я попробовал его. Батарея действовала прекрасно: яркий луч света лег на мелкий болотный кустарник. Я решил влезть на дерево и оттуда сигнализировать. Осмотревшись и приметив высокую березу, росшую, как мне показалось, недалеко, решил добраться до нее. Осторожно ставя ноги, стараясь ступать на кочки, я зашагал по болоту. Необыкновенно тихо было в лесу. Шум моих шагов раздавался так резко, так отчетливо, что я вздрагивал каждый раз. Глупая мысль пришла мне в голову: здесь надо ходить тихо и разговаривать шепотом, а то немцы услышат. Я рассмеялся нарочно громко и, споткнувшись, чертыхнулся. И вдруг я услышал шорох. Недалеко под чьими-то ногами хлюпала вода. По правде сказать, мне стало неприятно. В конце концов, летчик мог ошибиться на несколько километров, ветром могло меня отнести в сторону. Откуда я знал, где нахожусь?

Шорох приближался. В полутьме я увидел — какая-то тень отделилась от дерева. Кажется, человек всматривался в темноту. Я стоял тихо, не решаясь пошевелиться. Человек негромко свистнул. Я понял, что он меня видит. Вынув наган и сжимая его в руке, я решительно шагнул вперед.

— Кто это? — окликнули меня.

— Где тут живет интендант? — спросил я условленной фразой.

И услышал в ответ:

— Вы про Петра Сергеевича говорите?

Тогда я зажег фонарь и направил свет на своего собеседника. Он стоял, сжимая в руках автомат, подавшись вперед. Это был невысокий человек в охотничьих сапогах выше колен и в потрепанной гимнастерке.

— Здравствуйте, — сказал я.

— Здравствуйте, товарищ Старичков. Вас отнесло немного в сторону, и мы не видели, как вы приземлились. Петр Сергеевич ищет вас там, за ручьем.

Приложив руку ко рту, он засвистел протяжным переливчатым свистом. Мы прислушались. Издалека ему ответил такой же протяжный свист.

— Пойдемте навстречу, — сказал он.

Мы зашагали по болоту.

— Как летели? — спрашивал он меня. — Стервятники не встречались? Мы думали, вы будете раньше.

— Сыро у вас, — сказал я. — Я уж по колена провалился.

— Да, — усмехнулся он, — не зная дороги, у нас далеко не пойдешь. — Он помолчал и вдруг спросил: — Что в Москве? Как там живут?

— Ничего, — сказал я, не зная, что говорить.

— Трамваи ходят?

— Ходят.

— И метро, и автобусы?

— Метро работает, и автобусы начали ходить.

— Так, так. — Он опять помолчал, не зная, как выразить свое желание убедиться, что в Москве все в порядке и жизнь продолжается.

Я, кажется, правильно понял его.

— Конечно, темновато на улицах, — сказал я, — хотя понемногу горят фонари. В театры, в кино народ ходит. Правда, устали люди, работают много, а так ничего — жизнь продолжается.

— Так, так. — Он удовлетворенно кивнул головой. — Я сам не москвич, но ездил туда два раза. Интересный город!

Он взгляделся в темноту. Зрение у него было лучше, чем у меня.

— Вон Петр Сергеевич торопится, — сказал он.

Только минутой позже я различил в темноте приближающиеся фигуры.

— Евстигнеев! — негромко окликнули из темноты моего спутника.

— Есть такой, — ответил Евстигнеев.

— Нашел? Благополучно?

— Тут он, Петр Сергеевич.

Навстречу нам, задыхаясь и торопясь, шагал коренастый, полный человек.

— Ну хорошо, хорошо, — говорил он. — Здравствуйте, здравствуйте! Позвольте приветствовать. Устали? Замерзли? Голодны? Сейчас чайку заварим, свининка есть. А может, с устатку спиртику?

Он засыпал меня вопросами, не давая мне сказать ни слова, и энергично тряс мою руку.

— Вот ведь какие у нас неприятности, — говорил

он, — а? Ведь никогда ничего такого не было. Пары портянок ни у кого не украли, а тут вдруг... Интеллигентный человек — и такое дело! Вы только подумайте, ай-яй-яй!

### III

Через десять минут мы вышли на небольшую полянку. Слабый свет пробивался из-под земли, и я не сразу понял, что это дверь. Рядом с нами шло несколько человек, и Петр Сергеевич время от времени, отрываясь от разговора, то одного, то другого посылал с поручениями.

— Михайлов, — говорил он, — сходи, голубчик, взгляни, затопили ли баню. Я сказал, да, боюсь, забыли... Алексеенко, вели Марфуше самовар поставить... Сенюхин, добеги до склада, выбери комплект обмундирования получше. Надо товарищу следователю переодеться. Небось болотная водица насквозь его проняла.

— Петр Сергеевич, — сказал я, как только мне удалось вставить слово, — напрасно вы беспокоитесь: ни в бане я мыться не буду, ни переодеваться. Единственно, может быть, гимнастерку посушу немного у печки и чайку, если позволите, с удовольствием выпью.

— Что вы, что вы, — заволновался Петр Сергеевич, — разве можно так! После такого-то путешествия! Вымоетесь, поспите, а там и за дело.

Я категорически отказался, и Петр Сергеевич, кажется, несколько огорчился. Он проговорил еще что-то насчет того, что тогда и работать лучше будет, но, убедившись, что я непоколебим, перестал спорить. Со скрипом открылась дверь, и по дощатым ступеням мы спустились в землянку. Она оказалась довольно высокой и просторной. И стены, и потолок, и пол были обшиты досками. От большой печи несло жаром, хотя стояло лето, и в землянке было очень душно. На столе, покрытом скатертью, стояли чашки, блюдца и тарелки. На стенах висели картинки и фотографии. В большом застекленном шкафу стояла посуда, и на полу лежали пестрые половики. Прочным бытом, устойчивостью веяло от обстановки.

Полная женщина внесла большую миску с тушеной свининой; за ней молодой парень втащил шумящий самовар.

— Закусывайте, — сказал Петр Сергеевич.

Я снял гимнастерку и повесил ее просушить у печки. В одной рубашке я сел к столу. Съел тарелку свинины, в стаканы уже был налит крепкий, горячий чай.

Сидя друг против друга, мы с Петром Сергеевичем стали чаевничать, как люди, понимающие настоящий вкус в этом деле. Я снова услышал подробный рассказ о профессоре Кострове, о Вале, о двух ассистентах, о том, как была устроена в партизанском отряде лаборатория.

— Хорошо, — сказал я. — Что же вы сделали после того, как кража была обнаружена?

Петр Сергеевич потянул с блюдца чай, оставил блюдце и вытер со лба пот.

— Что ж тут делаешь! — сказал он. — Конечно, послали искать по болоту, да ведь черт его знает... Разве болото обыщешь!

— Но вы же говорите, что здесь как на острове. Почему же нельзя обыскать?

— Обыскать-то можно, но только вы представьте себе: отряд весь ушел, у меня осталось человек тридцать, всех одновременно бросить на поиски я не могу. Постовые должны стоять на постах, радист дежурит, кухня работает, конюх лошадей стережет. Территория наша, надо считать, километров шестьдесят квадратных. Ну, бросил я на поиски двенадцать человек — одного на пять квадратных километров. Конечно, по настоящему лес не прочешешь.

Почему-то этот простой расчет раньше не приходил мне в голову.

— А собаки нет у вас? — спросил я.

— Обыкновенная шавка, — ответил Петр Сергеевич. — Куда же ее? Разве она по следу сможет пойти? Если, как я надеюсь, через недельку отряд вернется, тогда, конечно, другое дело: прочешем по настоящему, кочки ни одной не оставим, а сейчас так, одна формальность.

— Через недельку! — сказал я. — Хорошее дело! За это время Якимов знаете где будет?

— Все может быть, все может быть, — печально согласился Петр Сергеевич.

Мы помолчали. Я допил чай и оставил стакан.

— Хватит, — сказал я. — Теперь, Петр Сергеевич,

если можно, дайте мне часика два поспать. Сейчас четыре. Можно, чтобы в шесть меня разбудили? И тогда пойдем с вами к Костровым. Далеко это?

— Километра два, и того не будет. А постель вам готова.

За печкой на топчане постлана была постель. Я лег. Петр Сергеевич прикрутил керосиновую лампу, пожелал мне спокойного сна, почему-то на цыпочках вышел из землянки и тихо притворил за собой дверь. Тикали ходики на стене. Женщина бесшумно вошла и убрала посуду.

Я лежал, и неприятное чувство неуверенности овладело мной. В самом деле, что я мог сделать? Открыть преступника? Но преступник известен. Поймать его? Как? Прочесать лес невозможно. Найти следы? Прошли уже сутки, много людей ходило по всем тропинкам. Рота красноармейцев, которая сумела бы тщательно прочесать лес, была во сто раз нужнее и полезнее меня, следователя-специалиста. С этими печальными мыслями я заснул.

### *Глава третья*

## **ЕСЛИ ЕСТЬ ЗАГАДКА — МОЖНО ЕЕ РАЗГАДАТЬ**

### I

Петр Сергеевич зашел за мной ровно в шесть утра, и мы отправились к полянке, на которой стояла лаборатория.

Нездоровое это было место — Алеховские болота. Ночью и днем носился над ними неуловимый запах гниения. Жужжали комары. Стайки маленьких мошек вились над землей, и мне физически неприятно было их прикосновение, как будто они переносили на кожу ту гниль, в которой зародились. Тишина была какая-то беспокойная — настороженная, тревожная тишина. Неприятное было это место — Алеховские болота. Остывшись, я прислонился к невысокой засохшей березе, и она вся рассыпалась от прикосновения. Под корой была труха, и в этой трухе копошились насекомые.

Как всегда бывает в таких местах рано утром, над низинами поднимался туман, и, мне казалось, желтоватые его пары насыщены заразой.

Да, это не было похоже на загородную дачу! Я подумал о том, что только большая беда могла заставить людей жить здесь.

Петр Сергеевич подтвердил мне, что они все мучаются малярией, а особенно мучились первое время, когда доставка медикаментов не была еще налажена.

Впрочем, штаб отряда и жилые землянки помещались на более высоком месте. Пройдя по зыбкой, хлюпающей под ногами тропинке, мы стали подниматься и вышли на твердую землю. Здесь было почти сухо, росли высокие, большие березы, слабее чувствовалось ядовитое дыхание болота.

Хотя, подходя к лаборатории, мы поднимались на холм, здесь почва тоже была сыровата. Папоротник густо рос между деревьями. Я всегда чувствую особую, диковинную природу папоротника. Очень уж отличается он от растений нашей эпохи. Он как бы выходец из тех времен, когда земля была покрыта невиданными, пугающими наше воображение гигантскими травами.

Но тропинка поднималась еще выше. Кончился папоротник. Мы пошли по веселой зеленой траве и вышли на освещенную солнцем полянку. Здесь ничто не напоминало о болоте. Здесь росли кашки, одуванчики, ромашки, и со всех сторон окружали полянку большие березы с веселыми белыми стволами. На краю полянки стоял дом. Ветви берез нависали над его крышей, и казалось, что дом прячется от солнца в их прохладной, свежей тени. Это был маленький дом: три окошечка по фасаду, мезонин в одно окошко, с маленьким балкончиком. Крыльцо было сбоку. В нескольких шагах от крыльца — колодец. Перед домом — врытая в землю скамейка и круглый стол. Из трубы поднимался дым. Окна были раскрыты настежь, но ни в окнах, ни около дома не было видно ни одного человека.

Мы с Петром Сергеевичем остановились.

— Вот наша лаборатория, — сказал он. — Конечно, не очень богато, но уж как смогли, так и сделали.

— Мне нравится, — сказал я. — Превосходный дом. А Костровы ждут меня?

— Еще бы! Ждут, волнуются, спрашивают все время.

— Они знают мою фамилию?

— Фамилию? Нет, по-моему, не знают. Мы сами узнали ее только поздно ночью. Москва передала по радио.

Я стоял и смотрел на дом. Сейчас я войду в него и увижу людей, с которыми случилось большое несчастье, которые ждут меня с нетерпением и верят, что я их спасу. Что я могу для них сделать? Я видел болото и знаю, что если человек захочет спрятаться, его в неделю там не отыщешь. Что им сказать? Сказать прямо, что надо ждать, пока вернется отряд, и потом попытаться прочесать болото? А может быть, лучше успокаивать? Начать следствие: произвести обыск, допрашивать, многозначительно молчать?..

«Подождем, — подумал я. — Поглядим, послушаем, подумаем. Отказаться от надежды всегда можно будет».

— Ну что ж, — сказал я, — пойдете, Петр Сергеевич...

## II

В кухне не было никого. Топилась плита, в кастрюле кипела вода. Кухня как кухня: одно окно, лавки по стенам, стол. Я открыл дверь. Просторная комната. Бревенчатые, голые стены. Очень чисто. Половики на полу. Стол покрыт полотняной скатертью, с мережками и узорами. В глиняном большом горшке — водяные лилии. Тяжелые стулья, сработанные топором, пилой и рубанком, с высокими неуклюжими спинками. Такая же примитивная качалка из толстых, плохо отделанных досок. Лестница в мезонин, под лестницей чуланчик. Направо дверь, налево два окна. В углу чисто выбеленная печь.

Я только успел окинуть комнату взглядом, как распахнулась та дверь, что направо, и в комнату вошел высокий человек лет тридцати пяти, с открытым, довольно красивым лицом, с темными волосами. Он был одет в старый, но тщательно зачиненный и выглаженный серый костюм. Под пиджаком была белая апашка. На ногах парусиновые серые туфли.

— Следователь? — спросил он. — Наконец-то. Мы уж думали, что вы не приедете. Валя пошла в штаб узнавать. Давайте знакомиться: Вертоградский.

— Старичков, — сказал я, протягивая ему руку.

Вертоградский поднял голову и закричал:

— Андрей Николаевич!

Заскрипела лестница. Старик Костров, удивительно мало изменившийся, торопливо спускался вниз.

— Наконец-то! — сказал он. — Вы Валю не встретили? Она в штаб побежала. Мы уж думали, с вами случилось что-нибудь. Почему вы так поздно?

— Я спал у Петра Сергеевича, — ответил я. — Не мог же я вас ночью будить!

— Скажите просто, что вам самому спать хотелось... — сердито буркнул старик. — Уж нас-то вы по такому делу могли потревожить!

Он сразу насупился. Ох, как я его хорошо знал! Я нарочно сказал, что спал у Петра Сергеевича, чтобы посмотреть, изменился ли Костров. Нет, старик ни капли не изменился. Такой же сердитый, колючий. Но постарел, конечно, — теперь я это видел. Эти годы не даром дались. Бородка совсем седая, брови лохматые, и весь он уменьшился, как старики уменьшаются. На нем был белый костюм (к такому костюму пошла бы южная шляпа канотье), но только шит он был из домотканого деревенского холста. Это выглядело довольно забавно.

— Давайте все-таки познакомимся, — сказал я. — Вы, конечно, Андрей Николаевич Костров? А я Старичков Владимир Семенович.

Он протянул мне старческую, сухую руку и сдержанно, но вежливо поздоровался.

— Ну, — сказал он, — надеюсь, вы хорошо отдохнули и сейчас начнете работать.

Я усмехнулся:

— Во всяком случае, Андрей Николаевич, постараюсь сделать все, что могу.

— Прощу, — сказал старик, указывая на стул.

В окно я увидел бегущую по полянке Валю. Мне кажется, я бы ее узнал, даже если бы не ожидал встретить. Она тоже очень мало изменилась, разве что пополнила немного и повзрослела. В основном она была та



же, это я сразу почувствовал. Она стояла, глядя на меня с удивлением, и я видел, что она меня узнаёт.

— Здравствуйте, Валентина Андреевна, — сказал я.

— Володя! — вскрикнула Валя. Она подбежала ко мне и энергично затрясла мою руку. — Что такое? Откуда вы взялись?

— Прибыл из Москвы в ваше распоряжение.

— Так вы и есть следователь? — догадалась наконец Валя.

— А что, разве не похож?

Она пожала плечами:

— Мы ждали пожилого, военного, в очках. Папа даже думал, что это будет профессор-криминалист.

— Очки у меня есть, — сказал я и, вынув из кармана, показал их Вале. — Я их надеваю не часто — когда читаю мелкий шрифт, — но всегда таскаю с собой.

— Вы хоть знали, к кому едете? — спросила Валя.

— Знал, — сказал я. — Я только не думал, что вы такая взрослая.

По недружелюбному молчанию профессора я понял, как его раздражает наш непонятный и легкомысленный разговор. Я повернулся к нему.

— Вы меня не узнали, Андрей Николаевич? — спросил я.

— Как будто мне ваше лицо знакомо, — сухо сказал Костров. — Вы не тот Старичков, который у меня с третьего курса ушел?

— Тот самый.

— Так, так...

Я не заметил в его глазах никакой радости.

— Изменились, — сказал он, неодобрительно глядя на меня, — повзрослели. — Мне показалось, что я очень нехорошо сделал, повзрослев. — Значит, микробиология не понравилась?

— Да вот, — сказал я извиняющимся тоном, — бросил, Андрей Николаевич...

— Для чего ж тогда в вуз поступали? — строго спросил Костров. — Государство на вас деньги тратило...

Ух, какой это был сердитый старик! Смешно сказать, но я по старой памяти ощутил легкое замирание сердца. Я его все еще немного боялся. Мне самому стало смешно от этого.

— Надеюсь рассчитаться, — сказал я, сдерживая улыбку.

— Несерьезно, — обрезал меня профессор и, помолчав, перевел разговор: — Следователем давно работаете?

— Всего года два, — сказал я.

Старик хмыкнул совсем недовольно:

— Значит, опытные следователи в Москве все заняты?

Колючий язык был у человека! Я ответил, пожав плечами:

— Начальство меня выбрало.

— Так... — сказал Костров. — Ну-с, так с чего вы собираетесь начать?

Я думаю, что врач, которого позвали к умирающему, чувствует себя примерно так же, как я чувствовал себя тогда. Врач не может сказать умирающему: «Извините, мне у вас делать нечего, умирайте спокойненько». Я сказал:

— Прежде всего я хотел бы осмотреть помещение.

### III

Много раз приходилось мне осматривать помещения, в которых произошли убийства и кражи, но никогда, кажется, не производил я осмотра с таким ясным ощущением его бессцельности. Что я мог найти? Представить себе, что Якимов в последний момент решил оставить вакцину и бежать без нее, было абсолютно невозможно, следов борьбы тоже не могло быть. И все-таки я производил осмотр тщательно и аккуратно.

Прежде всего я поднялся в мезонин. Я осмотрел книжные полки, на три четверти заполненные книгами и на остальную четверть — связками бумаг. Перелистывать книги было бессмысленно, я заглянул за полку и убедился, что там ничего нет. На столе стояла школьная чернильница-непроливайка, стаканчик с карандашами и ручками, лежала пачка бумаг и несколько книг.

Бедностью обстановки кабинет Кострова мог конкурировать с моей московской комнатой. Кроме шкафа и полок, стояли еще два топчана, на одном из которых спал Андрей Николаевич, а на другом Валя, и два стула.

С серьезным видом я осмотрел топчаны и заглянул под них.

За моей спиной, сдерживая дыхание, стояли взволнованные Андрей Николаевич и Валя, Петр Сергеевич и Вертоградский. Ужасно мне хотелось сказать им: «Знаете что, товарищи, перестанем валять дурака. Оставьте меня одного, и дайте мне спокойно подумать». Но, конечно, сказать это было невозможно. Поэтому я осмотрел все до конца и спустился в столовую.

В столовой повторилась та же сцена. Я заглянул под стол, чувствуя себя на редкость глупо, и долго возился у печки, пытаюсь разглядеть, не спрятано ли в ней что-нибудь. Единственным местом, в котором было что осматривать, оказался чуланчик под лестницей. Там стояли запыленные банки с клеем и чернилами, валялись связки бумаг, лежала пачка черных клеенчатых тетрадей и стопка картонных коробочек.

Сумасшедшая мысль мелькнула у меня в голове. Стараясь принять равнодушный вид, как будто я делаю это просто по привычке осматривать все до конца, я быстро перелистал все тетради. Конечно, все они были чисты. Это была нелепая мысль, что среди них может оказаться лабораторный дневник.

Я вошел в лабораторию. Здесь стояли столы, сверкала медь микроскопов и стекло лабораторной посуды. Все это очень не гармонировало с бревенчатыми голыми стенами, с деревянным дощатым потолком. Может быть, так выглядела бы хорошо оборудованная колхозная хата-лаборатория. Две узенькие койки стояли у стен. В углу — шкаф. Я обошел комнату, открыл дверцу шкафа. На полках лежали связки бумаг; несколько ящиков с предметными стеклышками для микроскопа стояли в глубине у задней стенки.

— Шкаф был заперт? — спросил я.

— Да, — ответил Вертоградский.

— А ключ?

— Ключ был у Якимова.

— А утром?

— Утром шкаф оказался отпертым, но дверца была прикрыта. Ключ исчез вместе с Якимовым.

Больше не о чем было спрашивать. Я высунулся в окно. Окно выходило прямо в лес. Деревья стояли здесь густо, кроны переплелись, толстые корни, изги-

баясь, ползли по земле, земля поросла кустиками черники. Наверно, здесь бывает много грибов.

Наблюдения невольно увлекли меня. Я вдруг ощутил ту радостную напряженность, которую испытываешь всегда, начиная восстанавливать в подробностях происшествие, только частично тебе известное.

— Где он гулял? — спросил я.

— Здесь, под окном, — сказал мне стоявший за моей спиной Вертоградский.

— Всегда здесь?

— Да, это было его любимое место. После ужина накинёт пальто, папиросу закурит и ходит под окнами.

— Далеко от дома он никогда не отходил?

— Я ни разу не замечал.

— Был случай, — вмешался Петр Сергеевич. — Однажды мои молодцы километрах в пяти его встретили. Говорил, что заблудился. Правда, это не мудрено в наших местах.

— Дверь из лаборатории запирается?

— Нет.

— А наружная дверь?

— Запирается на крючок.

— Значит, пока Якимов гуляет, она открыта.

— Да.

— А утром кто первый проснулся?

— Я, — сказала Валя. — Папа и ассистенты очень устали за это время и встали позже, чем обычно.

— И вы, Валя, не обратили внимания на то, что дверь отперта?

Валя пожала плечами:

— Нет. Мы не очень тщательно запираемся. Немцев замком не удержишь, а воров тут нет. Кстати, Якимов по утрам иногда уходил, пока все еще спали.

Я смотрел в окно на березы, на корни, на кустики черники.

Вот здесь ходил этот человек, которого мне надо найти, ходил позавчера вечером, курил, молчал, думал... Вот померк свет в окне, — значит, Вертоградский погасил лампу, надо подождать, пока он уснет. Наверно, он заглянул в окно и прислушался к дыханию Вертоградского: дышит ровно — уснул, пора... Если б я мог знать, почувствовать, угадать, что он думал в эту

минуту! Ну хорошо, допустим, он думал только о технике дела: как войти, чтобы не услышали, как взять, чтобы не увидели. Он мог даже не входить в дверь.

Я высунулся в окно: на метр ниже подоконника кончалась завалинка. Он встал на нее, перекинул ногу через подоконник, отпер шкаф, бесшумно выпрыгнул в окно и исчез между стволами. Или, может быть, он вошел в дверь? Подошел на цыпочках к шкафу? Все это никак не меняет дела. Меня убивала именно эта полная ясность, не оставлявшая надежды на то, что неожиданная мысль вдруг заново осветит события и откроет все: преступление и преступника.

Но за моей спиной, глядя на меня напряженными, ожидающими глазами, стояли люди, для которых я был последней и единственной надеждой, и я должен был продолжать делать вид, что интересуюсь подробностями.

#### IV

— Вы рано встали? — спросил я Вертоградского.

— Часов в девять. Валя меня разбудила. Смотрим, Якимова нет и постель убрана. Думали, он вышел с утра погулять. Он и к завтраку не пришел. Ждали, ждали, потом Андрей Николаевич открыл шкаф, а там ни коробочки с ампулами, ни черной тетрадки...

— Как они выглядели, эти ампулы и тетрадка? — спросил я.

— В чулане вы видели точно такие же тетради и коробочки. В коробочках в вате уложены ампулы.

Я достал папиросу и закурил. Нужно было протянуть хоть несколько секунд. Я напряженно думал, напряженно искал ниточки, кончика, за который можно было бы уцепиться. Но Костров не был расположен давать мне передышку. Он подошел и стал прямо против меня.

— Владимир Семенович, — сказал он, — скажите мне откровенно: есть какая-нибудь надежда вернуть вакцину?

Он смотрел на меня серьезным, прямым взглядом. Он, старый человек, требовал правды. Я ответил ему так же серьезно:

— Конечно, Андрей Николаевич, есть.

Петр Сергеевич тяжело вздохнул и заговорил голо-

сом, немного похожим на тот, каким причитают по покойнику бабы:

— Сколько трудов, сколько хлопот! Для боя людей не хватало, а на тропинке к лаборатории каждую ночь караул ставили...

— И в эту ночь он стоял? — спросил я.

Петр Сергеевич безнадежно махнул рукой:

— То-то и дело, что нет! Отряд-то ушел, людей раз, два — и обчелся. Да и думалось: столько времени ничего такого не было, неужели в последние дни случится?

— А почему ключ от шкафа был не у вас, Андрей Николаевич? — спросил я.

Костров нахмурился.

— Ключ всегда был у Якимова, — сдержанно сказал он.

Петр Сергеевич махнул рукой:

— Как назло, все у него было в руках!

Я разговаривал, задавал вопросы и мучительно, напряженно искал зацепки. Только ниточку, только хвостик... Да, все было совершенно ясно, все было необыкновенно просто, но в самой простоте этой была какая-то странность.

— Если можно, товарищи, побудьте здесь, — сказал я. — Я посмотрю под окном. Может быть, остались какие-нибудь следы.

Я выскочил в окно и, наклонив голову, осматривая каждую травинку, прежде чем на нее ступить, стал медленно продвигаться между стволами берез.

Я смотрел очень внимательно, но, по совести говоря, не рассчитывал найти ничего важного. Мне нужно было подумать хоть несколько минут — подумать, чтобы мне не мешали.

Все было не так просто.

В самом деле, как назло, все было у Якимова: у него ключи, у него знание всей техники и существа открытия. Ему полностью и до конца доверяли. Зачем ему кража? Зачем ему эта ночная прогулка, это ожидание, пока заснет Вертоградский? Зачем красть изобретение, когда можно просто снять копию? Он хотел, чтобы у Кострова ничего не осталось? Что ж, он мог подложить такую же тетрадь, такие же с виду ампулы и днем спокойно пройти мимо постов...

Щепотка пепла лежала на черничной ветке. Ну что ж, это только доказывало, что здесь кто-то курил. Очевидно, Якимов. Уж так все ясно, так ясно! Ну хорошо, а если отбросить эту естественную версию, что может быть кроме этого? Украл Костров? Вздор. Валя? Конечно, нет. Вертоградский? А куда в таком случае делся Якимов? И к тому же украсть и остаться здесь — уж совсем бессмысленно. Просто хотел подложить профессору свинью? Необыкновенно сложный и рискованный способ. Хотел отомстить Вале? Допустим, он ее любит, а она его нет. Но Валя от кражи меньше всего страдает. Кто-то посторонний вошел и украл вакцину? Опять-таки — где Якимов?

У меня начала кружиться голова. Ни малейшего просвета не виделось мне. И тем не менее у меня улучшилось настроение. Я чувствовал, что в деле заключена сложная, трудная загадка, а если так, значит, можно ее разгадать.

#### *Глава четвертая*

### **УЛИК НЕДОСТАТОЧНО. ЗАПИСКА ЯКИМОВА**

#### I

Я обошел вокруг дома и через кухню вошел в столовую. Костров, Вертоградский и Петр Сергеевич вышли навстречу мне из лаборатории. Все они смотрели на меня вопросительным, ожидающим взглядом. В обычных условиях родственники и близкие, все люди, лично заинтересованные, удаляются из помещения и следовательно работает один. Но здесь я не мог их никуда удалить. С другой стороны, меня невыносимо нервировало это чувство надежды и ожидания, которое я читал на их лицах.

— Андрей Николаевич, — сказал я, — у меня к вам просьба: вы бы не составили с товарищем Вертоградским... кстати, как ваше имя и отчество?

— Юрий Павлович.

— С Юрием Павловичем докладную записку, страничек пять-шесть, не больше: что у вас осталось, что нужно восстановить и сколько это займет времени.

— У меня ничего не осталось, — сказал Костров.

— Так и напишите.

— Пойдемте, Юрий Павлович, — сказал Костров.

Он стал медленно подниматься по крутой лестнице, ведущей в мезонин. Вертоградский пошел за ним. К счастью, никто из них не заметил нелепости моей просьбы. В самом деле, на кой дьявол могла понадобиться эта записка, когда и без нее все было совершенно ясно.

— Старичков, — спросила Валя, — вы поймаете Якимова?

Попробуйте ответить ей на такой вопрос!

— Если украл Якимов, — сказал я, — постараюсь его поймать.

Костров, дошедший уже до верхней ступеньки, остановился как вкопанный. Сверху он, нахмурясь, уставился на меня.

— Вы еще не уверены, что украл Якимов? — спросил Петр Сергеевич.

— Прямых улик нет, — неохотно сказал я.

На самом деле против Якимова было так много улик, что это как раз меня и раздражало и путало: точно нарочно, все обстоятельства указывали на Якимова. Но такой улики, которая бы меня окончательно и с несомненностью убедила, пока не было.

— Меня убедила бы и четверть этих улик, — сказал Петр Сергеевич.

— Но ведь все это может быть стечением обстоятельств, — сказал я, пожав плечами.

Валя смотрела на меня широко открытыми глазами:

— Я сама сначала не верила. Но кто же украл?

— Посторонних в лесу не было, — сказал Петр Сергеевич.

Я снова пожал плечами:

— Откуда мы можем знать?

Костров круто повернулся и прошел в кабинет. За ним ушел Вертоградский. Когда я сказал «если украл Якимов», старик, наверно, подумал, что сейчас я вытяну за рукав из-за двери настоящего преступника, а так как этого не произошло, решил, видимо, окончательно, что я хвастунишка, напускающий на себя важность. Мне кажется, и Петра Сергеевича разочаровала неопределенность моих слов. Видимо, он тоже потерял надежду увидеть торжественную поимку преступника. Он молча надел фуражку и вышел.



Мы остались с Валею вдвоем.

Мы помолчали, как и следует бывшим влюбленным, оставшимся наедине, потом Валя спросила:

— Как вы жили, Володя?

— Обыкновенно, — ответил я. — Ничего интересного со мной не случилось.

Я не знал, как начать разговор, и она, по-видимому, не знала. Я посмотрел на цветы, стоящие на столе, и спросил:

— Это, наверно, Якимов собирал?

— Нет, партизан один, — ответила Валя.

Еще минута, и я бы сказал, что стоит хорошая погода, и, может, она бы ответила, что, кажется, дождь собирается. Но в это время в кухне раздались тяжелые шаги и какой-то шум, точно передвигали мебель. В комнату вошел здоровенный дядя, таща три перевязанных веревкой ящика.

— Здравствуйте, — улыбаясь сказал он.

— Здравствуйте, Грибков, — сказала Валя. — Ящики принесли? Это наш плотник, — пояснила она мне.

— Принес. — Грибков скосил глаз на потолок и хитро подмигнул. — Старик на антресолях?

— На антресолях, — улыбнулась Валя.

Грибков нахмурился, лицо у него стало торжественным и официальным.

— Ну как? — спросил он, вежливо кашлянув. — Ничего?

— Ничего... Спасибо.

Грибков понимающе кивнул головой и направился к лестнице, но остановился и сказал Вале деловым тоном:

— Ящики я еловые сколотил, они полегче будут.

— Хорошо, Грибков, — сказала Валя.

Грибков стал медленно подниматься, стараясь не задеть ящиками о стены. Но посередине лестницы еще раз остановился и спросил грубым басом:

— Качаетесь?

— Что, что? — удивилась Валя.

— На качалке, говорю, качаетесь?

— Качаюсь, — сказала Валя.

Грибков удовлетворенно кивнул головой и ушел в мезонин.

Дождавшись, когда дверь за ним закрылась, я спросил у Вали небрежным и даже рассеянным тоном:

— Валя, ассистенты ссорились из-за вас?

Валя резко повернулась ко мне:

— С чего вы взяли?

— Я только спрашиваю, — мягко сказал я. — Что за человек был Якимов?

— Скучный человек.

— Что значит «скучный»?

— Рабочая лошадь, — резко сказала Валя.

Я пожал плечами:

— Это скорее похвала.

Вале стало неловко за свою резкость.

— Я не хочу его ругать, — поправилась она, — в общепитии он был полезен: ни от какой работы не отказывался и даже варил суп, когда я стирала.

— К Вертоградскому вы лучше относитесь? — спросил я.

Мне было неприятно задавать Вале эти вопросы. С моей стороны они были по меньшей мере неуместны. Но мне очень нужно было знать, не было ли тут романтической истории.

Валя заговорила очень просто и очень дружески.

— Мне здесь все надоело, — сказала она. — И Якимов и Вертоградский. Я хочу домой, Володя. Конечно, это нехорошо, но что я могу сделать! Хочу домой...

Слезы одна за другой стекали по ее лицу. Не стыдясь, она вытерла их платком и улыбнулась жалкой, извиняющейся улыбкой.

— Я бы не жаловалась, Володя, — сказала она, — но уж очень обидно! Кажется, приедем в Москву с вакциной, такие дни для нас будут... Может, думали, и похвалят нас хоть немного. И вот все зря... Папу жаль, Вертоградского жаль, да и себя жаль. А то бы я продержалась...

Я подошел к ней и сказал очень мягко:

— Я знаю, Валя, что вы продержались бы.

Она совсем расстроилась и даже всхлипывать стала:

— Еще знаете что поддерживало? Что уж мы-то, те, кто здесь, друг на друга, как на каменную гору... И вдруг — Якимов...

Я не удержался и погладил ее по руке.

— Вы сегодня очень устали, Валечка, — сказал я. — Вам бы отдохнуть, выспаться...

Она усмехнулась, вытерла слезы и сказала:

— Пойду попудрюсь. У меня и пудры осталось дня на два, не больше.

И ушла на кухню.

## II

Меня взволновал разговор с Валей. Очень уж хорошо я помнил, какой она была жизнерадостной девочкой. Я сел в качалку — должен сказать, на редкость громоздкое это было сооружение, — откинул голову и, покачиваясь, стал думать обо всем, что узнал и увидел сегодня. Но мне не суждено было остаться одному. Сначала спустился Грибков, на этот раз уже без ящиков, — он оставил их наверху, — посмотрел на меня гордо и деловито спросил:

— Качаетесь?

— Качаюсь, — ответил я.

Он опять кивнул головой, пошел к двери, но в дверях остановился, кашлянул и сказал:

— Это я сделал профессору в уважение.

— Хорошая качалка, — ответил я.

«Ну хорошо, — опять размышлял я, — допустим, это не Якимов. Вертоградский? Тогда почему он остался здесь? И куда он девал Якимова? Костров? Ерунда. Валя? Тоже не может быть. Кто-то из отряда? Кто? Раненый из госпиталя? Женщина или старик из хозкоманды? Кто-нибудь из немногих оставшихся бойцов, которые все время стоят на постах или отдыхают в штабе? Нет, пожалуй, всё же Якимов. Будем думать о нем».

Снова и снова представлял я себе позапрошлую ночь. Вот он ходит под окнами, ему надо украсть вакцину. Это он может сделать спокойно и незаметно и утром открыто пройти мимо постов. Допустим, он боится разоблачения. Скажем, он встретил человека, который знал его не как Якимова. Но кого он мог встретить? За эти дни в отряд никого нового не прибыло. Всех старых бойцов он знает давно, и они его знают. Допустим, кто-нибудь застал его за каким-нибудь компрометирующим занятием. Он, скажем, имел скрытый радиоаппарат. Но почему тогда человек, заставший его, не сообщил об этом? Случайных людей здесь нет, и никто не исчезал.

«Нет, — решил я, — украл не Якимов. Надо искать

другие варианты, какие угодно, даже самые невероятные».

В это время наверху, где Андрей Николаевич и Вертоградский писали докладную записку, раздались возбужденные голоса. Дверь хлопнула. Я повернул голову. Костров стоял на площадке; он держал в руках листок бумаги, и по лицу его я видел, что старик очень взволнован.

— Вы сомневались, Владимир Семенович, — сказал он, — так вот, смотрите: вот письмо от Якимова.

Я вскочил с качалки и помчался по скрипучим ступенькам вверх. Мы чуть не столкнулись с Костровым на середине лестницы; за его спиной виднелось растерянное лицо Вертоградского. Привлеченные шумом и голосами, из кухни выбежали Валя и Петр Сергеевич.

Я схватил бумагу; это был листок, вырванный из блокнота, размером примерно в ладонь. Бумага была клетчатая, оторвана неаккуратно, не по пунктиру. Записка написана карандашом, листок не измят, не согнут, следы карандаша черные — значит, записку не таскали в карманах, очевидно, она лежала на столе или в книге.

Сбежав с лестницы, я подошел к окну. Меня сразу поразили непривычные очертания букв: записка была написана по-немецки, остроугольной, готической прописью. Я примерно переведу ее содержание:

«Андрей Николаевич, я не мог поступить иначе, они хотели, чтоб я Вас устранил. У меня не поднялась рука. Думаю, что за это я поплачусь. Но Вы и сейчас для меня мой любимый учитель. Помните, что бывают трагические случайности, прощайте и простите. Пишу по-немецки, потому что не хочу, чтобы кто-нибудь, кроме Вас, читал это письмо. Якимов».

Я стоял у окна, держа записку в руках, боясь повернуться лицом к Кострову. Сначала надо было решить, что делать.

### III

Две мысли мелькнули у меня сразу. Первая: лишь тогда имело смысл писать по-немецки, если ни Валя, ни Вертоградский не знают этого языка. Вторая: значит, Якимов не один, значит, есть «они», которые заставили

его украсть вакцину. Первое надо выяснить сейчас же. Насчет второго мы поговорим с Петром Сергеевичем.

Я повернулся и резко спросил Вертоградского:

— Разве вы не понимаете по-немецки?

— Нет, — сказал Вертоградский. — Впрочем, со словарем...

Я повернулся к Вале:

— А вы?

— Нет.

Я повернулся к Кострову:

— Где было письмо?

— В книге, — ответил Костров, — вместо закладки. Оно торчало между страницами, но я не обратил на него внимания. Я часто закладываю нужные мне места первыми попавшимися бумажками.

— А где была книга?

— У меня наверху.

— Все время? Последние дни вы ее не сносили вниз?

— Я не помню... Ты не помнишь, Валя? Это «Основы микробиологии», — растерянно сказал Костров.

— По-моему, она все время была наверху, — сказала Валя, — но Якимов позавчера поднимался к тебе. Помнишь, он еще забыл наверху спички?

— А в последние дни вы читали книгу? — спросил я.

— Куда там! — махнул рукой Андрей Николаевич. — Разве мне эти дни до чтения было?

— Хорошо, — сказал я, — в конце концов, это ничего нового не вносит. Мы и раньше знали, что украл Якимов. — Я зевнул. — Валечка, вы бы не приготовили мне чего-нибудь поесть? А вас, Андрей Николаевич, я все-таки попрошу закончить вашу докладную. Она может очень мне пригодиться... Пойдемте, Петр Сергеевич, я провожу вас.

Конечно, все они поняли, что я хочу поговорить с Петром Сергеевичем наедине, но были достаточно вежливы, чтобы не дать мне это почувствовать. Валя даже спросила заботливо, люблю ли я жареную колбасу с картошкой, и я ответил, что с детства страшно люблю.

Мы вышли с Петром Сергеевичем из дома и молча прошли через полянку. Когда дом скрылся за деревьями, Петр Сергеевич не выдержал.

— Теперь вы убедились, что это Якимов? — спросил он.

Я пожал плечами:

— Дело очень серьезное, Петр Сергеевич. Может быть, и Якимов, может быть, нет. Но если даже Якимов, то, судя по записке, он был не один. Какие-то люди руководили им, угрожали ему. Кто это может быть, Петр Сергеевич?

Партизанский интендант остановился и растерянно на меня посмотрел:

— Вы думаете, кто-нибудь из отряда?

— Может быть, из отряда. Если нет, значит, на ваших Алеховских болотах спокойно разгуливают посторонние люди.

Петр Сергеевич огорчился ужасно.

— Нет, — сказал он, — как же так! У меня посты на всех проходах, мы тут знаем каждый кустик, пройти нигде невозможно.

— Значит, в отряде есть чужие люди.

Петр Сергеевич замолчал. Мы молча пошли по тропинке; он отвернулся от меня, и видно было, как он огорчен и обижен.

— Что же вы думаете делать? — спросил он наконец.

— Когда ушел отряд? — ответил я вопросом.

— Позавчера днем.

— У вас есть сведения о каждом из оставшихся?

— Да, конечно.

— Пойдемте в штаб. Вы познакомите меня со всеми.

— Хорошо.

Конечно, я прекрасно понимал, что эта работа может оказаться бесполезной. Если отряд ушел только позавчера днем, то возможно, что человек, которого боялся Якимов, который заставил его пойти на преступление, ушел с отрядом. Легко представить себе, что позавчера утром у них был решающий разговор, что неизвестный потребовал, чтобы дело было сделано ближайшей ночью. Но проверять тех, кто ушел, я не мог — надо было проверить оставшихся.

Тропинка сворачивала. Здесь кончались большие деревья и видно было болото на много километров. Тишина и покой царили над ним. Жаркое солнце палило над стоячими озерами, медленно-медленно текущими ручейками, над однообразной болотной зеленью, лозняком, зарослями камыша. Звенели комары в тишине. Ветерок чуть-чуть шевелил листву. Самая тишина и покой болота

опять показались мне тревожными, настороженными, враждебными. Большая лиловая туча медленно выползла из-за горизонта. Парило так, что, наверно, вода в озерах была почти горячей.

— Гроза будет к вечеру, — сказал Петр Сергеевич. — Вот после дождя посмотрите наше болото: ни пройти, ни проехать.

### *Глава пятая*

## **НОВЫЕ ПОДОЗРЕНИЯ**

### I

Мы вошли с Петром Сергеевичем в ту самую землянку, где я был утром, и он мне стал поименно перечислять членов отряда, которые остались в его распоряжении. Трое раненых, из них один лежал, а двое только недавно стали ходить, опираясь на палочку. Две женщины, много лет жившие в соседней деревне и известные всем в районе. Старик конюх, тоже местный, бывший инспектор по качеству в одном из колхозов. Другой старик, охотник, получивший в 1939 году премию за рекордное количество убитых волков. И еще старик, учитель-пенсионер, проработавший в этих местах лет сорок. Не считая Петра Сергеевича, всего двадцать девять человек. Почти все это были местные люди, здесь родившиеся и выросшие, вся жизнь которых была на виду. Только трое были не местные: два красноармейца, прикрывавшие отход своей части, отставшие от нее и присоединившиеся к отряду, и Грибков, присланный с донесением и некоторыми материалами из отряда, действовавшего в соседнем районе. Относительно красноармейцев Петр Сергеевич имел подробные сведения. В полку, в котором они служили, стало известно, что они находятся в партизанском отряде, и комиссар полка прислал комиссару отряда письмо, рекомендуя их с самой хорошей стороны. Относительно Грибкова комиссар связался по радио с отрядом, в котором Грибков был раньше. Сведения о нем были самые лучшие. Он местный колхозник, плотник, человек тоже известный.

Я попросил Петра Сергеевича вспомнить, нет ли сре-

ди тех, кто ушел на операцию, человека, недавно попавшего в отряд, человека не из здешних мест — словом, не так хорошо известного, как остальные. Петр Сергеевич думал, думал и никого не мог вспомнить. Отряд формировался тут же, в этих местах, людей отбирали с большим разбором, и человек незнакомый, мало известный попасть в отряд не мог.

— Хорошо, Петр Сергеевич, — сказал я, — давайте подробнее поговорим о Грибкове. Значит, вы говорите, что о нем хорошие сведения?

— Знаете что? — сказал Петр Сергеевич. — Чем нам говорить попусту, схожу я к радисту и возьму у него запись разговора с грибковским отрядом. У нас ведь все разговоры записываются, должна быть у радиста и эта запись.

Он ушел, а я, оставшись один, стал продумывать все, что теперь знаю, и пришел к выводу, что положение мое далеко не так скверно, как казалось утром.

Прежде всего, история с письмом Якимова. Вдумаемся: против Якимова масса улик — столько, что, кажется, не приходится сомневаться в его вине, тем не менее я сомневаюсь. Я говорю об этом. При этом присутствуют Костров, Валя, Петр Сергеевич и Вертоградский. Костров и Вертоградский уходят наверх и вскоре приносят мне прямую, неопровержимую улику — признание самого Якимова. Может быть, конечно, это случайность, но если случайность, то на редкость своевременная. Разберемся в самом письме. Это письмо человека слабого, нерешительного, письмо труса. Он любит Кострова и наносит ему самый страшный удар, какой только возможен. Это нытик, размазня. Такие люди пишут много о психологии, о сложных движениях человеческой души и очень мало — о деле. Было какое-то противоречие между содержанием и стилем письма. Подумав, я отверг это соображение: можно себе представить, что Якимов писал торопясь, что у него не было времени, что он боялся, как бы его не застали. Вообще письмо было гадкое — письмо ханжи и фарисея, который лжет даже самому себе. Но, с другой стороны, хороший человек не станет красть вакцину...

Однако что-то другое казалось мне в этом письме неестественным и подозрительным.

Немецкий язык... Почему он писал по-немецки? Он не



хотел, чтобы Валя и Вертоградский прочли письмо? Ерунда. Достаточно было запечатать письмо в конверт и написать на нем «Кострову» или, если нет конверта, просто сложить и заклеить его. Достаточно было положить его в такое место, где оно неизбежно попадет в руки профессору, например, в книгу, которую профессор читает, — где оно, кстати говоря, и лежало. Совершенно ясно, что если Костров захочет довести его содержание до всеобщего сведения, то он его переведет, а если не захочет, так никому не расскажет, будь оно написано на самом что ни на есть русском языке. Удивительно нелепая идея — писать письмо по-немецки. Это само по себе уже подозрительно.

Но, с другой стороны, если Якимов действительно человек раздвоенный, нытик, то от него и следует ждать поступков нелепых и нецелесообразных. Он волнуется, ему кажется, что за ним наблюдают, что сейчас его разоблачат. Под руками нет ни конверта, ни клея; ему приходит в голову идиотская мысль писать письмо по-немецки, чтобы скрыть его содержание от посторонних. В этот момент логика у него действует слабо, ему кажется, что это на редкость удачная мысль. Простейшие возражения, которые в обыкновенное время сразу же пришли бы ему в голову, сейчас им забыты.

Это рассуждение психологически ничуть не менее убедительно, чем предыдущее. Значит, дело и не в том, что письмо написано по-немецки.

Оставалось в письме что-то странное, что мне не давало покоя. Мне пришлось напрячь мысль, чтобы уяснить, в чем дело. Странно то, что письмо написано готическими, угловатыми буквами. В самом деле, готический шрифт давно уже вышел из широкого употребления. Давно уже в немецких книгах употребляется латинский шрифт, письма пишутся латинскими прописными — зачем в торопливо набросанной записке воскрешать забытые начертания букв? Они не могли невольно возникнуть в памяти у Якимова, потому что ему только тридцать пять лет и, когда бы он ни учил немецкий язык, хотя бы в самом раннем детстве, он неизбежно учил не готические, а латинские буквы.

Значит, это было сделано сознательно, это не могло быть случайностью. В этом была какая-то мысль, которую мне следовало разгадать.

Я вынул блокнот и написал фразу по-русски. Под ней ту же фразу я написал по-немецки, обыкновенными латинскими буквами. Еще ниже ту же фразу я написал готическими, остроконечными буквами. Я даже засмеялся от удовольствия: достаточно было одного взгляда, чтобы все стало абсолютно ясным. В первой и во второй фразах одни и те же буквы были написаны совершенно одинаково. Не надо было быть графологом, чтобы установить, что это писал один человек. Фраза, написанная готическим шрифтом, выглядела иначе. Значит, все дело было в почерке. Тут могли быть два варианта. Первый: Якимов не хотел, чтобы узнали его почерк. Это бессмыслица, раз он все равно подписался. Следовательно, остается второй вариант: кто-то написал письмо готическим шрифтом для того, чтобы не узнали, что это почерк не Якимова.

Теперь подозрение, вызванное такой удивительно своевременной находкой, превратилось в уверенность.

«Нет, — подумал я, — тут для меня работа найдется. Тут я кое-что смогу сделать!»

Какое это чудесное чувство, когда неясное становится ясным, когда враждебной воле ты противопоставляешь свою, сильнейшую волю и логику!

Я вскочил и стал ходить по землянке. Значит, Якимов не преступник, а жертва. Пожалуй, можно считать это установленным. Будем искать преступника. Думается, найти его не так трудно: записка безусловно была написана и подложена после того, как я сказал, что для обвинения Якимова улик недостаточно. Написать и подложить записку могли Костров или Вертоградский. Неужели Костров? Я никак не мог себе представить этого. Значит, Вертоградский. Приходилось остановиться на этом. Я стал думать о Вертоградском.

Что могло заставить его похитить открытие Кострова? Все сомнения, которые возникали по поводу Якимова, естественно оставались и в отношении Вертоградского. Точно так же похищение вакцины и дневников из соображений карьеры или корысти было бессмыслицей. Точно так же он мог спокойно переписать дневник, подменить вакцины глюкозой и без всякого риска уйти с болот днем, не вызвав никаких подозрений. Но существо-

вали и некоторые дополнительные обстоятельства. В отношении Якимова можно было предположить, что это просто морально неустойчивый человек, решивший прославиться, украв чужое открытие, или совершивший это из мести за какую-нибудь неведомую мне обиду, — словом, что Якимов действительно был Якимовым, обыкновенным доцентом, в силу неизвестных нам обстоятельств ставшим преступником. Но если записку написал Вертоградский, это меняло дело. Человек, который говорит по-немецки и всю жизнь скрывает это, не может быть случайным преступником. Это человек, давно замысливший преступление, человек, который, еще только начав работать с Костровым, уже с самого начала маскировался, лгал, казался не тем, чем был. Якимов мог быть Якимовым, но Вертоградский, если он похитил вакцину, не мог быть Вертоградским.

Кстати говоря, если украл Вертоградский, легче объясняется многое. Ключи были у Якимова; значит, для того чтобы украсть дневник, нужно было сначала украсть ключи (или взломать шкаф, что сделано не было). Больше того: Якимов мог переписать дневник, а Вертоградский не мог, потому что ключи у Якимова. Якимов мог подменить вакцину, а Вертоградский не мог, потому что ключи у Якимова. Все непонятные обстоятельства стали понятными.

Я заново представил себе картину преступления. Прежде всего, Вертоградский, очевидно, профессиональный шпион. Кстати сказать, он человек не местный. Он приехал из Москвы, и в городе, где жил и работал Костров, его не знали — значит, это еще более подкрепляло мою версию.

Теперь о самом преступлении: Вертоградский выжидает, пока будет все готово, он хочет получить испытанную вакцину, годную для употребления. Он тщательно выбирает день, вернее, ночь. Выбор действительно очень удачен. Во-первых, вакцина готова. Во-вторых, отряд ушел и на болотах мало людей. В-третьих, ждать больше нельзя, потому что Костровы, вместе с вакциной, улетят в Москву и все будет пстеряно. Якимов, как всегда, вышел перед сном погулять. Вертоградский знал, где у него ключи: они могли быть в кармане пальто, которое не надел Якимов; они могли быть где-нибудь в ящике. Словом, где бы они ни были, но, когда Якимов уходит, Верто-

градский достает ключи и открывает шкаф. В этот момент он встречается взглядом с Якимовым. Якимов смотрит в окно...

Нет, так это не могло быть. Якимов, конечно, успел бы поднять тревогу, закричать, выстрелить, даже если бы Вертоградский сразу бросился на него. Значит, было иначе...

Ключи были в кармане у Якимова; когда Якимов вышел погулять, за ним тенью выскользнул Вертоградский. Я представил себе все поразительно ясно. Вот он ходит, курит, думает, этот молчаливый, медлительный человек. Темно в лесу, виден только его силуэт да огонек папиросы, то исчезающий за деревом, то появляющийся снова. Совсем вблизи от него, не дыша, стоит Вертоградский. Что дальше? Удар по голове. Может быть, хлороформ. Здесь ведь есть госпиталь, и Вертоградский в госпитале бывал. Беззвучно падает Якимов. Может быть, короткая борьба, но неожиданность нападения, растерянность — всё против Якимова. Он связан... Нет, вернее всего, хлороформ, иначе на траве остались бы следы борьбы. Ключи теперь у Вертоградского. Дальше все совершенно понятно: клеенчатую тетрадь и коробочку с ампулами он достает из шкафа и кладет в карман. Потом он взваливает на плечи бесчувственное тело Якимова. Высокий, плечистый человек, Вертоградский любит спорт; вероятно, он силен. Он относит Якимова. Куда? В любое топкое место, к любому озеру, затянutoму зеленой ряской. Всплеск, и усыпленный человек погружается в гниющую воду, чтобы захлебнуться, не приходя в сознание. Вероятно, к шее привязан камень. К утру ряска снова затянет поверхность озера, все следы исчезнут...

Я весь дрожал от возбуждения. Эта гипотеза объясняла все факты. Все то, что было неясно, что казалось нелогичным и удивительным, стало, наоборот, естественным и неизбежным.

### III

Когда вернулся Петр Сергеевич, пришлось постараться, чтобы у меня не было идиотски радостного вида. Петр Сергеевич показал мне запись переговоров с комиссаром отряда, действующего в соседнем районе. Комиссар подтверждал, что Грибков действительно послан им, и со-

общал, что человек он вполне проверенный и на него положиться можно. Но мне уже было не до Грибкова — я слушал, как Петр Сергеевич монотонно читает запись переговоров, а сам продумывал план дальнейших действий. Сейчас же арестовать Вертоградского? Это было бы очень просто, но я должен вернуть коленкорovou тетрадь и коробку с ампулами. Арест будет только вреден. Улик у меня пока нет никаких. Как ни убедительны мои предположения, все-таки это только предположения. Вероятнее всего, он будет отрицать. Больше того, арест даст ему козырь в руки: он будет знать, что раскрыт, и приготовится к защите. Где, под каким пнем, в каком дупле спрятаны дневник и вакцина? Если можно надеяться, что после возвращения отряда, когда тщательно прочешут болото, будет найден спрятавшийся человек или мертвое тело, то совсем безнадежно пытаться найти на болоте клеенчатую тетрадку и маленькую коробочку. Значит, арест отпадает. Нужно поставить Вертоградского в такие условия, чтобы он растерялся и выдал себя. Больше того, надо придумать что-то, чтобы он выдал место, где спрятал вакцину.

Нет, предпринимать что-нибудь было рано. Надо продолжать охотиться за Якимовым, как бы веря в то, что записка подлинная и что вся трудность только в том, что нет людей, чтобы прочесать болото. Единственное, что я мог сейчас сделать, это радировать в Москву и попросить срочно проверить подлинность биографии Вертоградского и, пожалуй, Якимова.

Петр Сергеевич повел меня на радиостанцию. Этим громким именем называлась маленькая землянка, в которой жил радист, мальчишка лет шестнадцати. Тем не менее он, видимо, неплохо знал свое дело, быстро зашифровал радиограмму и сразу же стал передавать. Дождавшись, пока Москва сообщила, что радиограмма принята и будет немедленно вручена адресату, мы вышли с радиостанции.

— Ну, — спросил Петр Сергеевич, — куда теперь?

Мы стояли с ним под большой березой. Подняв голову, я увидел, что тучи уже затянули полнеба, огромные лиловые тучи, которые надвигались на солнце с запада; было по-прежнему тихо и жарко, но далеко-далеко, там, где тучи сходились с землей, бесшумно сверкнула молния.

— Пойдемте к Костровым, — сказал я и вдруг остановился, задумавшись.

Я представил себе Андрея Николаевича, и Валю, и Вертоградского, страшного, затаившегося Вертоградского. Ведь Костровы беззащитны перед ним. Что если почему-нибудь он догадается, что разоблачен, и захочет на прощание всадить пулю в своего профессора? Днем, пожалуй, он безопасен. Кругом ходят люди, днем ему не убежать и не скрыться. А ночью придется стеречь старика, причем стеречь так, чтобы его ассистент не почувствовал этого. Что делать сейчас? Наметить план действий, решил я, выждать и постараться, чтобы Вертоградский как можно дольше не знал о моих подозрениях... Я зевнул, потянулся и сказал Петру Сергеевичу:

— Ужасно хочется спать. Я думаю, дело не пострадает, если я часов до семи посплю?

— Правильно, — согласился Петр Сергеевич. — Пойдемте, я вас устрою. Поспите, отдохнете, и все будет хорошо.

— У меня к вам только одна просьба, — сказал я. — Хорошо ли заперты все проходы?

— Насчет этого будьте спокойны, — сказал Петр Сергеевич.

— Все-таки, если можно, усилие посты. И потом еще одна просьба: хорошо, если б кто-нибудь пока посидел у Костровых. Ходит тут где-то Якимов, мало ли что...

— А я вас устрою, посты проверю и сам посижу у Костровых, — сказал Петр Сергеевич.

Он уложил меня на ту же постель, на которой я уже спал этой ночью, и ушел. Разумеется, я не собирался спать. Я снова и снова продумывал свое объяснение кражи. И чем больше, чем строже я проверял его, тем страннее и убедительнее становилась моя гипотеза. Она объясняла всё. Мне даже было удивительно, как я сразу не понял. Самодовольство разбирало меня: я представлял себе, как будет доволен Андрей Николаевич, как одобрительно скажет Шатов, что я работал «быстро и точно», — это была его любимая формула. Я думал и о том, что, наверно, после моей удачи Валя будет не очень скверного мнения обо мне.

Выждав минут пятнадцать, чтобы дать возможность Петру Сергеевичу отойти достаточно далеко, я встал и вышел из землянки.

Пока Петр Сергеевич будет сидеть и сторожить Костровых, мне хотелось самому посмотреть, что за люди остались в отряде. Я поговорил с каким-то стариком, который оказался охотником по профессии, зашел к радисту, страшному болтуну. Найдя неожиданного и внимательного слушателя, мальчишка обрадовался и часа полтора, не переводя дыхания, рассказывал мне обо всех бойцах и командирах отряда.

Если бы я посидел еще несколько часов, я бы знал биографию каждого, но того, что он мне рассказал, было совершенно достаточно. Сведения Петра Сергеевича были точны. Я не подозревал его в том, что он сознательно будет мне лгать, но следователи отлично знают, как может быть неточен самый добросовестный человек.

Я зашел в госпиталь, где лежали трое раненых, и побеседовал с ними. По-видимому, отношение к Якимову и Вертоградскому у всех в отряде было одинаковое. Их обоих хвалили; они держали себя всегда хорошо и в бою показали, что на них положиться можно.

В кухне я поболтал с поварихой, женщиной серьезной на первый взгляд, но оказавшейся невозможной сплетницей.

Постепенно из всех рассказов у меня возникла живая и подробная картина жизни и работы партизанской лаборатории. То, что мне рассказывал Шатов в точных, но общих словах, теперь обросло десятками подробностей, стало видимым и осязаемым бытом. Я как бы вдохнул атмосферу, которой дышали эти годы жители домика на болоте. Я представил себе реально поведение каждого, и надо сказать, что не было ни одной черточки, ни одного даже маленького эпизода, который бы позволял хоть с тенью подозрения отнестись к кому-нибудь из жителей Алеховских болот.

Когда я расстался с поварихой, были уже сумерки. Тучи заволокли все небо. Как всегда перед грозой, лес притих. Петра Сергеевича со мной не было, но я помнил дорогу к Костровым и решил, что дойду и сам.

Тропинка шла вниз, и скоро земля стала хлюпать под моими ногами. Я шел осторожно, глядя под ноги, чтоб случайно не наступить на гадюку. Вероятно, поэтому я пошел неверно. Тропинка подвела меня к огромной луже, через которую было переброшено большое бревно. Я ясно помнил, что ни по какому бревну мы с Петром Сергееви-

чем не шли, остановился и посмотрел вокруг. Заросли осинника обступали меня со всех сторон. Попробуй тут определить свое местоположение! Я вернулся обратно, уже начиная сердиться на непредвиденную задержку.

Тропинка опять пошла вверх. Я решил, что неизбежно приду либо на тот холм, где помещается штаб, либо на тот, где помещается лаборатория. Но я пришел на третий холм, на котором помещались конюшни. Это, собственно, были просто навесы, окруженные земляным валом. В стороне, прямо под открытым небом, поднимая кверху оглобли, стояло штук пятнадцать обыкновенных крестьянских телег. Я остановился, растерянно оглядываясь, и сразу же из конюшни выбежал сердитый старик. На вид ему казалось лет сто, не меньше. При этом за плечами у него болталось ружье, которому было, наверно, лет полтора-ста. Оно придавало ему очень воинственный вид, и он чувствовал себя с ним вполне уверенно.

— Кто такой? Откуда? — закричал старик. — Зачем ходишь?

При этом он снял ружье с плеча и держал его с таким видом, как будто действительно думал, что оно выстрелит, если спустить курок.

— Спокойно, спокойно, дедушка, — сказал я. — И осторожней с ружьем, а то ведь оно разорвется и покалечит тебя.

— Ну-ну, — сказал старик, — ты меня не пугай! Ты скажи, откуда, каков человек?

— Я из Москвы, — ответил я. — Спрыгнул к вам вчера с неба, по делу к профессору Кострову. Слышал, может?

— А-а, так это вы насчет кражи прилетели?

Старик сразу подобрел, закинул ружье за спину, подошел и поздоровался со мной за руку. Я объяснил ему, что заблудился, он подтвердил, что действительно у них трудно не заблудиться новому человеку, и предложил меня проводить.

На горизонте одна за другой сверкали молнии. Изда-лека доносился гром.

— Здоровая гроза будет, — сказал старик. — Зальет нас дождичек этой ночью.

Он рассказал мне дорогой, что ему отнюдь не сто, а всего восемьдесят семь лет, что он тот старик, который инспектор по качеству, а другой старик, который охот-



ник, — тот постарше будет, хотя тоже еще крепкий мужчина.

Быстро темнело. Старик размышлял вслух:

— Успеть бы мне в конюшню вернуться, а то в темноте тут беда ходить: оступишься — и в грязь...

Теперь я уже узнавал дорогу. Заросли папоротника, по которым вилась тропинка, мне были знакомы.

— Ладно, — сказал я, — отсюда я сам дойду.

Старик обрадовался, простился со мной и бодро зашагал обратно в конюшню.

Я вышел на полянку. Грозно выглядело сейчас небо. Какой-то желтый, мертвенный свет излучали облака. Гром прогремел и стих. Издали, нарастая, приближался шум. Это ветер шел по вершинам деревьев. Он пронесся над моей головой, пригибая и раскачивая длинные ветки, и ушел дальше, а потревоженные деревья стихли снова, напряженно ожидая грозы.

Когда я подходил к крыльцу, на меня упали первые капли дождя.

### *Глава шестая*

## **ГРОЗА. КОСТРОВ СООБЩАЕТ ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

### I

Встретили меня сдержанно. Андрей Николаевич был, кажется, обижен до глубины души тем, что я до сих пор ничего не открыл. Сердился и Вертоградский — может быть, искренне, а может быть, притворяясь и подражая профессору. Даже Валя была, по-видимому, недовольна.

— У вас, конечно, ничего нового? — ехидно сказал Костров.

Я простодушно объяснил:

— Нет, конечно. Единственно, что я сделал, это послал радиogramму в Москву, просил навести кое-какие справки.

Я внимательно смотрел на Вертоградского. Внешне не было заметно, чтобы его взволновало это сообщение. Костров хмыкнул, а Валя сказала:

— Ваша колбаса уже совсем пересохла, но все-таки придется вам ее съесть.

Она принесла сковороду и тарелку, и я съел без особого аппетита жареную колбасу, которая, наверно, часа четыре назад была вкусной.

Все чаще и чаще ударяли по крыше крупные капли дождя. Необыкновенно быстро темнело. Глядя в окно, я уже с трудом различал силуэты деревьев.

Оттого, что гроза должна была разразиться с минуты на минуту и все никак не разражалась, нервы у всех нас были напряжены, как у человека, который стоит с завязанными глазами, ждет удара и не знает, в какую именно секунду его ударят.

Валя подошла к окну и высунулась наружу.

— Ух, и ливень же будет! — сказала она. — Уж чего-чего, а воды здесь хватает. Если когда-нибудь отсюда вырвусь, поеду жить в Среднюю Азию. Хорошо: песок, сушь, безводье...

— Почему же вы так воду не любите? — спросил я.

— Я люблю газированную с сиропом, — сухо ответила Валя и, забрав пустую сковородку, ушла на кухню.

И тут началось. Взвились занавески. С шумом захлопнулось одно из окон. В лаборатории зазвенело стекло. Сквозняк промчался по комнате. На полянку, на деревья, на маленький домик ринулись потоки воды. На полу под окнами сразу образовались лужи. Косой дождь хлестал в комнату. Мы подбежали к окнам и, борясь с ветром, стали их закрывать. Нас ослепила молния. Казалось, что она ударила где-то совсем рядом, не то в соседнее дерево, не то в пенек под нашим окном. Деревья изгибались под напором ветра. Забурлили ручьи.

— Лаборатория! — закричал Костров. — Там сметет всю посуду!

Вертоградский кинулся в лабораторию. С трудом я закрыл в столовой окна. По стеклам сразу же потекла вода, и в комнате стало еще темнее.

Валя вошла в комнату с керосиновой лампой в руке.

— Какая темень! — сказала она. — Петр Сергеевич, у вас есть спички?

Мы зажгли лампу, и, когда огонек ее разгорелся, за окнами стало темно, как ночью. Вертоградский вышел из лаборатории. Волосы у него были мокрые, и капли воды стекали по лицу.

— Две пробирки разбились, — сказал он. — Ну ничего, скоро у нас много посуды будет.

Валя сняла шерстяной платок, висевший на спинке стула, накинула его на плечи.

— Холодно, — сказала она, поеживаясь, — и неудобно. У нас всегда неудобно в такую погоду.

Петр Сергеевич встал и надвинул на лоб фуражку.

— Придется идти, — сказал он. — Хорошо, что я плащ захватил.

Он снял висевший на гвозде брезентовый плащ и стал надевать его.

— Куда вы? — удивилась Валя. — Вас же зальет.

— Надо, — сказал Петр Сергеевич. — Мало ли что может в такую погоду случиться! Тем более теперь.

Он вышел. Страшно было подумать, как он будет ходить по болотам в темноте. Там и в солнечный день не всюду можно пройти. Вертоградский стоял у окна и барабанил пальцами по стеклу.

— Будем пить чай? — спросила Валя.

— Нет, — сказал Костров. — Не хочется.

Валя беспокойно посмотрела на отца:

— Пойди ляг, папа.

Костров пожал плечами:

— Рано еще. Наверху лампа заправлена?

— Да.

— Пойду читаю.

— А я, — сказал Вертоградский, — пожалуй, лягу.

В такую погоду ничего нет лучше, как лечь и укрыться. Раздеваться не стану, а подремлю одетый.

Он ушел в лабораторию. Медленно поднялся Костров к себе в мезонин, и мы остались с Валею вдвоем.

— Может, все-таки выпьете чаю, Володя? — спросила она.

— Нет, спасибо.

Я сел в качалку и стал раскачиваться. Валя достала с полки коробку с работой и выложила на стол мотки ниток, иголки, куски материи.

— Вышивать будете? — спросил я.

— Нет, чулки штопать.

Иголка неторопливо двигалась в ее руках. Очень уютно и домовито выглядела Валя сейчас, в пуховом платке, склоненная над шитьем, при желтом свете керосиновой лампы.

Снова, прогремев, раскатился по небу гром.

Мы долго молчали. За окнами монотонно лил дождь. Даже в комнате было слышно, как шумят и бурлят ручьи между деревьями.

— Может, печку затопить? — спросила Валя. — Хоть сейчас и лето, но в такую погоду приятно.

— Не стоит возиться, — ответил я, и мы опять замолчали.

На кухне заверещал сверчок. Под его песенку я задумался. Мысли мои были не очень веселыми. Никак я не мог найти того верного и точного хода, который должен был разоблачить Вертоградского и заставить его вернуть вакцину. Вот он лежит в постели совсем близко, здесь, за тонкой перегородкой, и, наверно, обдумывает, как ему скрыться, как бы не выдать себя, вспоминает каждую мою фразу, стремясь угадать, догадываюсь я о чем-нибудь или нет. Так же и я сейчас вспоминаю каждую его фразу и каждое его движение.

Валя перебила мои мысли вопросом:

— Как вы стали следователем, Володя?

Я усмехнулся:

— Как обыкновенно становятся кем-нибудь. Частью по влечению, частью случайно.

— А где на следователя учатся?

— Я вот учился на биологическом.

— И только?

— Нет, еще кое-где... Андрей Николаевич все еще на меня сердится, что я с биологического ушел?

Валя усмехнулась:

— А вы все еще его боитесь?

— Я лишних полгода учился на биофаке, чтобы не рассердить его.

Валя откусила нитку и сняла чулок с гриба.

— Только для этого? — спросила она.

— Нет, — сказал я улыбувшись, — еще, чтобы с вами не расставаться. Я был очень влюблен в вас, Валя.

Снова иголка ходила в крепких и подвижных ее пальцах. Верещал сверчок, за окном монотонно шумел дождь.

— Я помню, — сказала Валя. — Я, правда, была девчонкой, но тоже была в вас влюблена. Мне только было очень обидно, что вы такой белобрысый.

Я не нашелся что ответить и снова стал раскачиваться

в качалке, прислушиваясь к свисту ветра и шуму дождя за окнами. Я посмотрел на часы: было начало одиннадцатого, уже мог прийти ответ из Москвы. Принесут мне радиogramму из штаба или решат подождать до утра? Жалко, я не предупредил, что мне она нужна срочно.

— Что вы на часы смотрите? — спросила Валя.

— Мне должны кое-что принести из штаба, — сказал я и, помолчав, добавил: — Ух, какой дождина!

— Когда вспоминаешь детство, — сказала Валя, — лето представляется одним солнечным днем. Раньше как будто и ненастных дней не было. А теперь вот... — Она помолчала. — Говорят, дожди потому, что война. Вы всему учились, Володя, скажите: может это быть?

— Валя, — спросил я, — Якимов хорошо знал немецкий язык?

— Якимов? — Валя подняла глаза и внимательно на меня посмотрела. — Он переводил что-то папе. Журналы, я видела, читал.

— А вы не видели, чтобы он писал по-немецки?

— Не помню. — Нахмурившись, она минутку подумала. — Нет, не помню.

— Жалко... А насчет дождей очень возможно. Хотя наука этого не подтверждает.

Валя снова склонилась над работой, но через минуту снова подняла на меня глаза:

— Скажите прямо, Володя: может, вам нужно спокойно подумать? Я ведь могу сидеть тихо и не мешать. Мне только не хочется уходить в кухню — там неуютно, огромная печь, горшки, ведра и дождь бьет прямо в окно.

— Сидите, Валя, — сказал я. — Мне приятно, когда вы разговариваете со мной.

— Мне тоже приятно, — сказала Валя. — Мне очень надоело, что не с кем разговаривать.

Когда я смотрел на нее, закутанную в пуховый платок, склонившуюся над шитьем, мне трудно было поверить, что это она скрывалась от немецкой разведки, шла мимо полицейских постов. Очень знакомая девушка сидела передо мной. Та самая, с которой я ходил в театр и подолгу потом разговаривал у крыльца. Та самая, с которой я ехал тогда, весной, в автобусе и которая поцеловала меня так неожиданно. Удивительно мало она изменилась! И можно подумать, что ничего особенного за это время с ней не произошло.

— Не понимаю, — сказал я, — почему вам не с кем было разговаривать? Ну, Якимов был молчальник, но Вертоградский ведь человек веселый, живой...

Валя чуть заметно передернула плечами. Мне даже смешно стало, как люди мало меняются. У нее и прежде была эта привычка передергивать плечами, я отлично помнил.

— С ним вот так, попросту, не поговоришь, — сказала она. И добавила неожиданно: — Я поэтому за него и замуж не пошла.

— Ах, вот как? — сказал я. — Об этом был у вас разговор?

— Был однажды... — неохотно сказала Валя.

— Давно? — спросил я.

— Собственно говоря, два раза: один раз — давно, когда мы только что сюда переехали...

— Ну, а вы тогда что?

— Я отшутилась.

— А второй раз?

— Второй раз — совсем недавно. Позавчера.

— Ну, а вы что?

— Я опять отшутилась.

Наверху скрипнула дверь. По лестнице неторопливо спускался Костров.

### III

— Пospал немного? — спросила Валя.

— Я не спал, — хмуро ответил Костров.

— Чаю согреть?

— Согрей.

Валя ушла на кухню. Костров прошелся по комнате, потом взял стул и сел против меня. Я привстал и предложил ему сесть в качалку, но он отрицательно покачал головой. Он был хмур и сосредоточен. Он очень горбился — заметно постарел за эти годы. А может быть, его последние дни согнули? Очень утомленное было у него лицо. Я сидел и ждал, что он скажет, но он молчал.

Чтобы начать разговор, я сказал:

— Мы с Валею вспоминали давние времена.

Он пропустил мои слова мимо ушей и заговорил о своем:

— Я не собираюсь вас учить, Владимир Семенович,

но время идет. Быть может, Якимов как раз сейчас пробирается в город. Вы не собираетесь его преследовать?

Я отлично понимал, как его должен был раздражать мой спокойный вид и монотонное покачивание качалки. Как я мог ему объяснить, что именно здесь, в этом доме, я был сейчас нужнее всего! Не мог же я рассказывать ему о своих подозрениях...

Я нагнулся вперед и положил руку старику на колено.

— Андрей Николаевич, — мягко сказал я, — если я сижу здесь, в качалке, то потому только, что ничего другого сейчас нельзя или не следует делать.

Костров утомленно качнул головой. Вряд ли он верил мне, но, наверно, понимал, что спорить со мной не может, и примирился. Он по-стариковски пожевал губами и заговорил негромким, усталым голосом:

— Это не важно, что я работал над вакциной много лет и вся работа моя пошла прахом, но, Владимир Семенович, ведь вакцина уже была создана, ведь где-то в госпиталях лежат люди, которые завтра умрут, а могли бы не умереть! На восстановление вакцины, если не вернуть дневников и ампул, уйдет много времени...

Мучительно было слушать жалобы старика и не иметь возможности хоть чем-нибудь утешить его, хоть как-нибудь намекнуть, что не так безнадежно все, как ему кажется. Очевидно, мне предстояло долго еще слушать его причитания.

— Я все понимаю, Андрей Николаевич, — сказал я, просто чтобы что-нибудь сказать.

Костров кивнул головой. Меня раздражала бесцельность его жалоб, но я приготовился терпеливо их слушать. Должен же был старик кому-нибудь жаловаться! Скоро предстояло мне убедиться, что этот разговор не был так бесцелен, как мне казалось сначала.

Костров сидел, жевал губами, кивал головой. Потом заговорил все так же неторопливо и тихо.

— За мной есть одна вина, — сказал он. — Не могу простить себе...

Я быстро поднял глаза. Нет, конечно же, старик пришел не просто жаловаться и причитать. Тут что-то другое, более важное. Мне пришлось сделать усилие над собой, чтобы не показать, как я заинтересован.

— Какая же вина? — спросил я равнодушным тоном.

— Когда гитлеровцы подходили совсем близко к шта-

бу, — сказал Костров, — и мы в любую минуту могли оказаться в их власти, я решил на всякий случай зашифровать лабораторный дневник. Вероятно, это была ошибка, но я захотел застраховаться от всяких неожиданностей...

Костров молчал. Я достал портсигар и предложил ему папиросу, но он отказался. Я закурил и неторопливо спрятал портсигар. Мне не хотелось, чтобы старик заметил, как я взволнован.

— Ну что ж, — сказал я, — почему вы считаете, что это ошибка? Очень хорошо, что вы зашифровали.

Старик покачал головой:

— Ошибка была в другом. Мне было трудно шифровать одному. Я много работал в это время. Я попросил его мне помочь.

— Кого? — равнодушно спросил я.

— Как «кого»? — Костров с удивлением на меня посмотрел. — Якимова, разумеется!

Полузакрыв глаза, я раскачивался в качалке. Дневник был зашифрован! Это меняло многое. Это, прежде всего, подтверждало одно: дневник мог пригодиться только тому, кто знал шифр. Еще подтверждение того, что не мог похитить дневник человек посторонний. Правда, похититель мог не знать, что дневник зашифрован...

Как будто издали доносились до меня слова Кострова. Он все еще продолжал говорить печально и неторопливо:

— Я сам дал ему в руки все карты. Быть может, я сам навел его на мысль о похищении...

Ох, если бы знал профессор, как мало меня сейчас интересовал вопрос, совершил он ошибку или не совершил!

— Возможно, — рассеянно сказал я.

Но старика, видимо, очень мучила его вина.

— Вы считаете, что я виноват? — спросил он.

Мне некогда было его успокаивать.

— Кроме вас и Якимова, никто не знал шифра?

— Никто.

— Ни один человек? Это совершенно точно?

— Да, ни один человек. Я считал, что шифр должен знать только тот, кто шифрует.

— Поймите меня правильно, — сказал я — Мой вопрос не имеет отношения ни к каким моим подозрениям,



но я должен знать все совершенно точно. Когда вы говорите, что никто не знал, вы понимаете и Валю и Юрия Павловича? Буквально ни один человек?

— Буквально никто, кроме меня и Якимова.

— А кто знал, что дневник зашифрован?

— Это мы ни от кого не скрывали. — Он опять помолчал немного и продолжал: — И вот видите, к чему это привело! Уж, кажется, старался от всех оградить...

— Давайте условимся, — прервал я его: — пока что никто из нас не знает, что к чему привело.

Боюсь, что в голосе моем звучало некоторое раздражение, но старик этого не заметил.

— Думать, что ко мне поддельвался человек, — говорил он, — с которым я вместе работал, прожил самое тяжелое время, делился всеми мыслями...

Я заставил себя не слушать Кострова. Значит, Вертоградский не знал шифра, рассуждал я. Его знал один Якимов. Но Вертоградский знал, что дневник зашифрован. Значит, убить Якимова он не мог. А представить себе, что он один набросился на Якимова здесь, у самого дома, в котором сидят Андрей Николаевич и Валя, и, не боясь шума и криков, ухитрился связать его, заткнуть ему рот, унести куда-то и спрятать, абсолютно невозможно.

Нет, по-видимому, я совершил ошибку, которую часто совершают следователи. Я отказался от самой вероятной возможности, которая была ясна всем. Я отказался от простой и ясной мысли, что вакцину похитил Якимов. Как будто из духа противоречия, я создал сложное и неубедительное построение и упорно держался за него, вопреки фактам и логике.

Как это часто бывает, истина заключалась не в сложном, а в простом: именно Якимов похитил дневник и вакцину.

Когда позже, уже в Москве, я возвращался мысленно к истории розыска вакцины Кострова, когда я перебирал в памяти этапы следствия, оно представлялось мне цепью сомнений, длинным рядом различных, подчас противоречивых, предположений, блужданием в темноте, и яснее всего я вспоминал чувство неуверенности, владевшее мною в течение всей первой половины следствия.

Итак, Якимов — единственный, для кого преступление могло иметь смысл. Какого же дьявола я все это время

продумывал всякие варианты и упустил самый простой, самый естественный — тот, который был ясен и Кострову, и Вале, и Петру Сергеевичу! Что заставило меня так решительно от него отказаться? Только история с запиской? Конечно, случайность маловероятная. Но ведь бывают же всякие случайности. Легче допустить удивительное сцепление обстоятельств, чем полную бессмысленность преступления...

— ...Я кажусь себе бесконечно неосмотрительным, — продолжал говорить Костров, по-видимому предполагая, что я его слушаю. — Самое важное, что я в своей жизни сделал, украдено. Что делать? Что делать, Старичков?..

Но готический шрифт? Зачем Якимов писал записку готическим шрифтом? Как бы я ни старался обойти это обстоятельство, оно снова напоминало о себе. Одна эта маленькая нелепость разрушала все стройное и ясное объяснение.

— Андрей Николаевич, — сказал я, — вы и раньше переписывались с Якимовым по-немецки?

Костров посмотрел на меня с удивлением:

— Нет. Зачем?

— Так что вы никогда не видели какого-нибудь его письма, записи — словом, написанного им немецкого текста?

— Нет, конечно, видел: он делал для меня когда-то выписки из немецких журналов, приводил цитаты.

— И он всегда писал готической прописью?

— Готической? — Костров посмотрел на меня растерянно: по-видимому, он впервые обратил внимание на это обстоятельство.

— Нет, — сказал он. — Дайте вспомнить... Конечно, нет. Я обратил бы на это внимание. Он писал обыкновенными латинскими буквами...

Я встал с качалки и подошел к окну. Дождь не стихал. Потоки воды стекали по стеклам. Но молния сверкала реже. Глухая, беспросветная темнота была вокруг дома. В темноте этой было слышно, как воет ветер, шумят деревья, бурлят ручьи и бьет дождь по крыше и в стекла.

Прошли уже почти сутки с тех пор, как я здесь. Неужели действительно я еще ни на один шаг не приблизился к разрешению задачи? На секунду уныние охвати-

ло меня. Время идет, я не успеваю за временем. Еще день, еще ночь — и преступник скроется. обманув посты. И придется мне возвращаться в Москву, ничего не добившись...

Валя вошла в комнату с чайником.

— Дождь все сильнее, — сказала она. — На кухне так завывает в трубе...

— Да, — сказал я. — Не завидую тому, кто в лесу.

Вертоградский, зевая и потягиваясь, вышел из лаборатории.

— Чай! — сказал он. — Какая благодать! Я спал, и мне снилось, что я подставляю стакан под носик чайника. Чай все льется и льется, как этот дождь, а пить нельзя, потому что стакан без дна... Простите меня, я налью себе сам.

Он налил себе в стакан чаю и с наслаждением отпил.

— Выспались, Юрий Павлович? — спросил Костров; он тоже подсел к столу.

— Отлично отдохнул! — тряхнув головой, сказал Вертоградский. — И всё такие веселые сны снились. Будто вернулся Якимов, извинился, объяснил, что произошло недоразумение, и все возвратил.

Валя разлила чай по стаканам.

— Всегда вы, Юра, несете вздор! — сказала она раздраженно. Пододвинула стакан отцу и позвала меня: — Садитесь пить чай, Володя.

— Мне и вы снились, Владимир Семенович, — добродушно улыбаясь, сказал Вертоградский.

— Что же я делал во сне? — спросил я.

— Охота вам его слушать! — сказала Валя сердито.

Она подошла к окну и стояла, вглядываясь в темноту, поживаясь под пуховым платком.

Вертоградский с наслаждением пил чай и болтал.

— Вы мрачный человек, Валя, — говорил он. — Берите пример с меня.

— Когда я подумаю, — сказала Валя, — что, может быть, вокруг дома ходит Якимов, такой привычный и такой невероятно чужой... Как будто сидела за столом с близким человеком, а он...

Она вскрикнула и отбежала от окна. Кто-то отчетливо и громко постучал в стекло.

Мы все вскочили. Я распахнул окно и высунулся наружу. Дождь и ветер ворвались в комнату. Огонь в лампе заколебался. Меня окатило водой, как будто кто-то

из ведра плеснул на меня. Под окном стоял Петр Сергеевич в брезентовом плаще с поднятым капюшоном, и капли дождя текли по его лицу.

— Мне тебя, Старичков, — сказал он.

— Сейчас открою.

Я закрыл окно и, выйдя на кухню, отпер дверь. Петр Сергеевич вошел. Сразу же с плаща его натекала на пол большая лужа.

— Что случилось? — спросил я.

— Понимаешь, Старичков, — заговорил Петр Сергеевич, — нехорошее дело... Обоз я сегодня решил не посылать, дать лошадям отдохнуть. Часиков в десять пошел проверить, укрыты ли лошади от дождя. Оказалось, одной лошади не хватает.

Сзади скрипнула дверь. Мы обернулись. Костров, Вертоградский и Валя стояли в дверях. Петр Сергеевич замялся, но сразу махнул рукой.

— А, что тут секретничать! — сказал он. — Пересчитали телеги — и телеги одной нет. Тогда я велел обзвонить посты. Стали звонить, а связь нарушена. Я послал проверить линии. На всех линиях провода перерезаны.

— Оборваны или перерезаны? — спросил я.

— Перерезаны. И больших кусков не хватает.

— У тебя же конюх лошадей стережет, — сказал я. — Он что ж, не видел, как у него коня и телегу украли?

— Да ну его! — Петр Сергеевич нахмурился. — Что с него возьмешь! Дряхлый старик. Залез в землянку, печку топил, кости грел...

— Колея должна остаться.

— Поди проследи! Все дороги водой залиты.

— Посты проверил?

— Проверил. Сразу послал связистов линии восстанавливать. Посты сообщают — никто не проезжал. И, знаешь, Старичков, — Петр Сергеевич понизил голос, — это меня больше всего беспокоит. Если бы что-нибудь уже случилось... Все тихо, а что-то готовится.

Это же чувство со все большей силой овладевало мной. Что-то готовилось! Неужели я совершил грубую ошибку и вместо того, чтобы сидеть здесь, карауля Вертоградского, мне нужно было все эти сутки неумоимо обшаривать болото?

— Люди все налицо? — спросил я.

— До утра не проверишь, всех не обойдешь.

— Зайдите в комнату, — сказала Валя, — хоть чаю выпейте.

— Какой там чай! — Петр Сергеевич достал платок, вытер мокрое от дождя лицо и все-таки прошел в комнату.

Валя налила ему чаю, и он стал пить, дуя и обжигаясь. О чем-то спрашивал его Костров, что-то говорил Вертоградский, кажется, Валя советовала обмотать шею шарфом, — я плохо слышал, о чем они говорят. Я шагал по комнате и рассеянно улыбался, делая вид, что прислушиваюсь к разговору. Я думал лишь об одном: что происходит сейчас на болоте?

### *Глава седьмая*

## **ЛИЦО В ОКНЕ**

### I

— Что я мог сказать себе в оправдание? Решив, что преступником может быть только Якимов или Вертоградский, я упустил из виду, что преступление мог совершить кто-то третий. То, что похищены предметы, ценность которых может быть ясна только для специалиста или, во всяком случае, для человека, находящегося в курсе работ Кострова, заставило меня искать преступника непременно в узком кругу ближайшего окружения профессора. Пропажа телеги многое объяснила. Уже раньше я понял, что Якимов жив, но теперь я знал точно: он жертва, а не преступник. Телега могла понадобиться только для того, чтобы увезти с Алеховских болот плененного, связанного Якимова — единственного человека, знавшего шифр.

Вертоградский сидит здесь, — значит, кто-то другой пытается сейчас пробраться мимо постов. Кто? И вдруг меня осенило. Я знаю кто: Грибков!..

Еще не успев привести самому себе никаких доказательств его виновности, я уже ясно понял, что это он гонит сейчас по размытым дорогам лошадь, везущую телегу со связанным Якимовым. Грибков! Тот, кто был наверху, в мезонине, когда появилась записка Якимова. Я вспомнил дюжего плотника с ящиками на плечах. Конечно, странно представить, что он знает немецкий язык настолько хорошо, чтобы уметь писать старым готическим

шрифтом. Что ж, это только значит, что он не случайный преступник, а специально присланный человек.

Много еще мыслей приходило мне в голову, но некогда было продумать их до конца. Сквозь вой ветра и шум дождя до нас донесся отчетливый выстрел.

## II

В комнате сразу стало тихо.

— Одиночный, — сказал Петр Сергеевич. — Из автомата.

— Где-то близко, — сказал Вертоградский.

Петр Сергеевич уже натягивал капюшон на голову:

— Пошли.

Он направился к двери.

В это время раздался отчаянный крик Вали:

— Стойте!

Она стояла бледная, с широко открытыми, испуганными глазами и пальцем показывала на окно. Я повернулся. Снаружи прижалось к стеклу лицо. Нос был расплюснут стеклом, и от этого лицо казалось лишенным всякого выражения, точно в окно заглядывала белая маска.

Вероятно, секунду мы все стояли не двигаясь. Потом я услышал высокий, захлебывающийся голос Кострова:

— Якимов!

Я бросился к окну. Раздалась короткая автоматная очередь. Лицо исчезло.

— Гасите свет! — крикнул я и, распахнув окно, выпрыгнул наружу.

Очень неприятно почувствовать под ногами человеческое, может быть еще живое, тело. Я отскочил в сторону. Свет в окне погас, Валя задула лампу. Я зажег фонарь, и белый его луч скользнул по человеку, распростертому на земле. Я наклонился. Человек дышал. Он смотрел на меня мутными, невидящими глазами и старался что-то сказать, но дыхание прерывалось и губы шевелились беззвучно.

— Жив? — спросили меня.

Я обернулся. Рядом со мной стоял Вертоградский. Не дожидаясь ответа, он наклонился над телом.

— Якимов! — сказал он. — Якимов, голубчик, ты жив?

Глаза Якимова оживились. Тело вытянулось, и рот открылся, он пытался что-то сказать. Он дышал хрипло; судорога сотрясала его тело.

— Ну что ты, что ты... — растерянно повторял Вертоградский. Он обхватил Якимова за плечи, стараясь его приподнять. — Ну что ты, чудак человек?

Дождь хлестал, заливая живого или мертвого Якимова. Ветер выл и слепил глаза. Деревья шумно раскачивались.

— Перенесем его в дом. Беритесь за ноги, — сказал я Вертоградскому.

Только сейчас я заметил, что вокруг меня стоят и Петр Сергеевич, и Костров, и Валя. Черная стена темноты была совсем близко. За каким деревом прятался человек, уже пустивший одну смертельную пулю?

— Зачем вы вышли из дому? — резко сказал я. — Сейчас же обратно!.. Валя, ведите Андрея Николаевича.

Теснясь и шаркая ногами, мешая друг другу, мы внесли Якимова в дом.

— Сейчас зажгу лампу, — сказала Валя.

— Подождите, прежде занавесим окна.

Одно окно было еще распахнуто настежь. Когда мы плотно закрыли раму, в комнате сразу стало тише. Только сейчас я понял, как шумел ветер и дождь.

Валя притащила два одеяла, и окна были кое-как занавешены. Костров наклонился над Якимовым. Он лежал неподвижный, страшный. Когда Валя зажгла лампу, стали видны неживые, закатившиеся глаза.

— Ну? — спросил я.

Мы все стояли теперь вокруг и ждали, что скажет Костров.

Костров медленно поднялся:

— Мертв.

Он отошел в сторону.

— Он узнал меня, — сказал Вертоградский.

— Да, — мягко сказал Костров, — он хотел протянуть к вам руку. Я видел, у него не хватило сил.

Вертоградский всхлипнул и отвернулся.

— Я побегу, — сказал Петр Сергеевич. — Может быть, мы его нагоним. Он не мог далеко убежать... Вы пойдете с нами?

Я на секунду задумался. Оставить Костровых? Я сразу решил:

— Нет, я буду здесь.

— Вы могли бы помочь... — неуверенно протянул Петр Сергеевич.

— Чтобы у меня тут пока Кострова убили? Никуда я отсюда не выйду.

— Владимир Семенович, — сказал Вертоградский, — нас трое, и мы вооружены.

— Будь вас хоть десять — за Кострова отвечаю я.

Петр Сергеевич, кажется, был не очень доволен моим решением. Вероятно, он даже думал, что я побаиваюсь выходить из-под защиты бревенчатых стен в лес, где из-за каждого куста может вылететь пуля. Но он только пожал плечами, вложил наган в кобуру, вытер платком мокрое от дождя лицо и пошел к двери. В дверях он остановился.

— Чуть не забыл! — сказал он. — Вам радиограмма из Москвы.

Он протянул мне листок бумаги и вышел.

Отойдя к лампе, я быстро проглядел обстоятельное и дружеское послание Шатова. Шатов сообщал, что Якимов действительно учился у Кострова, а до этого — в том же городе, в 9-й трудовой школе первой и второй ступени. Это подтверждают свидетели, которых удалось найти в Москве. Вертоградский учился в Московском университете и, по справке деканата биологического факультета, закончил его в 1935 году. Поступил он в университет в 1930 году, предъявил аттестат об окончании 13-й Калининской средней школы. Проверить подлинность аттестата в Калининне не удалось, так как архивы сожжены перед занятием города немцами. В заключение Шатов желал успеха и обещал любую необходимую помощь.

Но я полагал, что помощь мне не понадобится. Я надеялся, что справлюсь как-нибудь сам.

### III

Мы с Вертоградским вынесли труп Якимова в лабораторию и положили его на стол, убрав сначала химическую посуду. Я попросил Валю зажечь лампу. Я ждал. Я не хотел начинать осмотра, пока не останусь один. Костров подошел ко мне.

— Вероятно, это жестоко, Владимир Семенович, — сказал он, — человек только что умер... Но мы не имеем права пренебрегать ничем. Вы осмотрели его карманы? Может быть, там дневник и вакцина?

Боюсь, что я ответил несколько резко. Я попросил



старика не мешать мне и обещал, что после осмотра сам сообщу ему то, что может его интересовать.

После этого я выставил всех из комнаты и наконец остался один.

Якимов лежал передо мной на столе, когда-то высокий, большой человек, с широкими плечами и большими, грубыми руками. Таким я себе и представлял его по рассказам; такой он и должен был быть, этот молчаливый, немного угрюмый ученый, добросовестный и аккуратный в работе. Вероятно, он был из крестьян. Я осмотрел одежду; она была выпачкана в грязи и промокла насквозь. Брюки и гимнастерка порвались во многих местах. Грязь просачивалась сквозь верхнюю одежду, грязь была на белье и на теле — Якимов долго лежал в грязи. В кармане был портсигар с пятнадцатью папиросами марки «Беломорканал». Всего могло в нем поместиться шестнадцать. На столике у кровати Якимова лежала открытая пачка «Беломорканала». Я пересчитал в ней папиросы: их было восемь. Естественно было предположить, что перед тем, как выйти погулять, он шестнадцать папирос положил в портсигар, а семнадцатую сунул в рот. Значит, за время прогулки он выкурил две папиросы. И, значит, после этого он не курил двое суток. Немыслимая вещь для курильщика, имеющего папиросы в кармане. Почти наверное у него были связаны руки. Если не считать зажигалки, больше в карманах ничего не было. На Алеховских болотах ни деньги, ни документы понадобиться не могли.

Я осмотрел руки и ноги. Следы веревок были ясно видны. Руки были натерты до крови. На ногах образовались кровоподтеки. Да, уж конечно, он никак не мог достать папиросу. Он долго лежал связанный и, видимо, все время пытался освободиться. Лицо, руки, все тело были покрыты царапинами. Царапины могли появиться, когда он ворочался на земле, пытаясь порвать веревки, или когда, сбжав, пробирался через лес и кустарник. А может быть, это следы борьбы? На него набросились, его связали, он сопротивлялся. Если бы его оглушили внезапным ударом, остались бы следы. Я осмотрел голову очень тщательно: только царапины и синяки. Я извлек пулю. Она вошла со спины и, пробив тело почти навывлет, застряла под кожей груди. Пуля была от обыкновенного русского автомата. В дальнейшем в лабора-

тории определяют дуло, из которого ее выпустили. Я спрятал ее. В сущности говоря, осмотр был закончен. Но мне хотелось еще раз проверить свои выводы.

Значит, Якимов был не преступник, а жертва, — это не требовало больше доказательств. Он вышел погулять, выкурил одну папиросу и закурил вторую. Он ходил под открытым настежь окном лаборатории. За окном только что заснул Вертоградский. В это время на Якимова набросились. Он был сильный, здоровый человек. Конечно, он жестоко сопротивлялся. Трудно представить себе силача, который один мог бы осилить и связать Якимова, не дав ему даже крикнуть. Значит, нападавших было по меньшей мере двое. Один, предположим, Грибков — он высокий, здоровый человек. Кто же второй? Я старался рассуждать так точно и убедительно, как если бы я говорил перед судьями, требующими бесспорных доказательств.

Людам, пришедшим со стороны, подкравшимся, прячась за стволами деревьев, не могло быть известно, заснул Вертоградский или еще не заснул. Они должны были допустить возможность если не крика, то, во всяком случае, шума борьбы, случайных звуков, треска ветвей. Но люди, напавшие на Якимова, знали, что Вертоградского бояться нечего. Участвовал или не участвовал в нападении Вертоградский, нападение было совершено с его ведома и согласия. А может быть, одним из двух преступников был Вертоградский.

Итак, на Якимова напали, ему завязали рот, скрутили руки и ноги и унесли его в убежище на болоте. Все очень логично. Вакцина и дневники не представляют ценности без Якимова, потому что дневники зашифрованы и шифр знает только он один. Но вот борьба окончена, связанный Якимов лежит на траве. Вертоградский входит в лабораторию с ключом, вынутым у Якимова из кармана. Он достает маленькую коробочку и черную коленкоровую тетрадь и передает их своему соучастнику прямо через окно. Теперь осталось унести и спрятать Якимова. Соучастник сделает это один. Если это был Грибков, ему нетрудно — я видел, как он тащил на спине три больших ящика. Взвалив на себя связанного Якимова, он исчез в темноте между деревьями. Вертоградский внимательно осмотрел себя, счистил приставшую грязь, снял запутав-

шуюся в волосах веточки, поглядел в зеркало. Теперь он ляжет в постель и заснет или притворится спящим...

Остается вторая часть задачи: надо вывезти Якимова с болот. Может быть, преступники думали, что теперь, когда Махова и боевой части отряда нет на болотах, дисциплина ослабеет, посты будут менее бдительны и пройти мимо них окажется нетрудно. Грибков — допустим, что это Грибков, — попробовал пройти в ту же ночь, но вызвал окрик: на постах не дремали. Может быть, были совершены еще попытки, о которых мы ничего не знаем. Так или иначе, первая ночь была упущена. На следующую ночь прилетел я. Стало ясно, что не сегодня-завтра, как только станет немного больше людей, болото будет прочесано. Наступает третья ночь. Гроза, дождь, темень — самая удобная погода для бегства. По залитым водой, размытым, скользким дорогам невозможно пройти, неся на спине человека. Поэтому понадобилась телега и лошадь. Тут, в решающую минуту, Якимов бежал.

Все до конца было ясно, кроме одной подробности, самой существенной: где находятся дневник и вакцина?

Теперь менялся характер моей задачи: не раскрытие преступления, а поиски вакцины и дневника — вот что становилось главным и самым важным.

Я прислушался. Из-за двери доносились голоса: Костровы и Вертоградский взволнованно обсуждали события. Можно было, конечно, открыть дверь и, подойдя к Вертоградскому, сказать: «Юрий Павлович, вы арестованы».

Я уже положил руку на кобуру. Это было так соблазнительно просто и эффектно: войти, вынуть наган... Я представил себе, что будет делать этот высокий, красивый, самоуверенный человек. Наверно, начнет возмущаться, а может быть, пожмет плечами и скажет: «С ума вы сошли! Впрочем, я понимаю, такая уж ваша профессия...»

В общем, все равно, как он стал бы себя вести. Он может спокойно болтать с профессором на любую интересующую его тему, он не будет сейчас арестован. Хорошо буду я, если, погнавшись за легкими лаврами, упущу открытие Андрея Николаевича! Вертоградский упрется: «Знать ничего не знаю, ведать не ведаю». Если на этих болотах человека и то найти трудно, так попробуй найди коробочку и тетрадь. Все дупла не пересмотришь, все

кочки не перероешь. Пусть сидит пока, пусть разговаривает с профессором...

На цыпочках я подкрался к двери. Мне хотелось послушать, о чем они говорят.

Говорила Валя:

— Как страшно было думать о нем час назад! Кажется, что он ходит вокруг... А теперь он лежит там, и все равно страшно. Все равно, кто-то ходит вокруг, прячется за деревьями или забился в нору.

— Он писал, что не может меня убить, — устало сказал Костров. — Зачем же он приходил?

Я слышал шаги Вертоградского. Юрий Павлович ходил по комнате взад и вперед, потом заговорил растроганным голосом. Мне его интонации казались деланными и фальшивыми. Но, вероятно, для других слова его звучали трогательно.

— Мне не хочется думать о том скверном, что он сделал, — говорил Вертоградский. — Я все только вспоминаю, как он протянул руку и позвал меня...

— Не за этим же он приходил! — хмуро сказала Валя.

Как видно, слова Вертоградского ее не растрогали.

— Пусть он был виноват, — продолжал Вертоградский, — но раз он пришел, значит, раскаялся. Хорошо, он был слабый человек. Он попался в фашистскую ловушку и не сумел найти выхода. Но он мучился и все-таки на самое страшное не пошел.

— Я не понимаю, — сказала Валя. — Вы говорите все время о Якимове. Якимов убит. Кто его убил? Кого сейчас ищут?

Вертоградский усмехнулся:

— Вы еще не догадываетесь, Валя?

— Лично я не понимаю ничего, — сказал Костров.

— Попробую вам объяснить, — сказал Вертоградский. — Представьте себе, что каким-то образом, совершенно не знаю каким, Якимов оказался в руках немецкой разведки. Может быть, он совершил какую-нибудь глупость, которой его шантажировали. Шаг за шагом, пугаясь ответственности, увязая все глубже, он наконец чувствует, что выпутаться не может. Я не оправдываю его, я просто пытаюсь себе представить, как было дело. Во всем остальном он человек как человек. Он любит и уважает вас, Андрей Николаевич, любит Валу, друже-

ски относится ко мне. Но он бессилён что-либо изменить. Вы заметили, как мрачен он был последнее время? Наверно, ему нелегко было. От него требовали вакцину. Откуда-то приходил человек, назвавший себя Ивановым или Петровым, хотя фамилия его была Шульц или Шварке. Они встречались в лесу, и Шульц или Шварке говорил ему: «Если вы сегодня ночью не сделаете этого, вы погибнете. Через неделю будет поздно, вакцину увезут. Действуйте этой ночью»...

Вертоградский помолчал. В столовой было тихо, его слушали внимательно.

— И вот, в отчаянии, в растерянности, — продолжал Вертоградский, — он крадет вакцину и пишет вам прощальное письмо. Что происходит дальше?

Я не выдержал, открыл дверь и вошел в комнату. Вертоградский повернулся ко мне:

— Я рассказываю, Владимир Семенович, свою версию происшедшего.

Я кивнул головой:

— Очень интересно. Продолжайте, пожалуйста.

Вертоградский поднял глаза кверху и задумался. Несомненно, он сам увлекся своим рассказом.

— Наступает день, — сказал он. — Якимов прячется где-то в лесу. Он пришел в себя. Он плачет, когда вспоминает вас, Андрей Николаевич. Стыд мучит его, ужас перед встречей с вами, невозможность посмотреть вам в глаза. Ночью Шульц или Шварке перерезает провода, чтобы Петр Сергеевич не успел предупредить посты, и похищает телегу с лошадьёю. Вдвоем с Якимовым они ночью проберутся мимо постов. Утром они будут в городе, и Якимов на всю жизнь свяжет себя с людьми, которых он ненавидит и боится. И тут, в последнюю минуту, в Якимове просыпается все, что в нем есть еще хорошего.

Очень ясно я вижу эту сцену. Двое под ливнем, в темном лесу. Приглушенные голоса, угрозы, спор, ссора... Но сейчас он уже ничего не боится, он решает прийти и во всем признаться. Он бежит от Шульца. Как страшна эта погоня! Оба двигаются медленно. Грязь доходит до колен, оба натываются на деревья, дождь заливает глаза... Впрочем, тьма была такая, что все равно ничего не видно. И только одна мысль: «Добежать!» Он слышит за своей спиной хлюпающие шаги преследователя...

И вот наконец окно в лесу, такое бесконечно знако-

мое. Окно, за которым друзья. Сзади свистит пуля. Но он уже у окна, он видит всех нас. Он так задыхается, что не может крикнуть нам: «Помогите!» Но он добежал. Сейчас он будет среди друзей... И тут вторая пуля. Минута страшной тоски оттого, что он умирает предателем, непрощенным. Он видит меня. Он протягивает мне руку, чтобы проститься, но рука падает, не дотянувшись. Смерть...

Вертоградский знал, когда надо кончить. Он замолчал; у него даже выступил пот на лбу.

На Кострова и Валю рассказ, кажется, произвел впечатление. Они сидели, не двигаясь. Костров закрыл рукой лицо. Действительно, картина нарисована была мастерски. Мне захотелось испортить эффект.

— Вздор, — сказал я негромко. — Совершенный вздор! Вы были бы прекрасным адвокатом, но следовательно вы никудышный.

Все трое повернулись ко мне. У Вертоградского было огорченное и заинтересованное лицо.

— Почему? — спросил он. — Ведь, кажется, совпадают все факты.

— Я сейчас вымою руки, — сказал я, — и потом объясню вам, почему это вздор.

### *Глава восьмая*

## **ПОДВИГ ВЕРТОГРАДСКОГО**

### I

Я тщательно вымыл в кухне руки, повесил полотенце на гвоздик и вернулся в комнату. Костровы и Вертоградский ждали меня с нетерпением. Я еще раз окинул Вертоградского взглядом. Я отлично чувствовал внутреннее его напряжение. Внешне он был спокоен и хладнокровен.

Где-то в лесу сейчас шла погоня за одним из преступников, там надо было выследить, окружить, нагнать. Такая же погоня должна была начаться здесь, в комнате. Только здесь шло состязание не в быстроте, не в зоркости глаза, не в физической силе, а в нервах, выдержке, логике.

— Ну? — спросил Костров.

— Все было не так, как говорил Юрий Павлович, — начал я. — То есть кое-что было так: была погоня, было окно в лесу, была надежда спастись, а все остальное происходило совершенно иначе.

— Как же могло быть иначе? — спросил Вертоградский. — Ведь Якимов украл? Ведь Якимов скрывался?

— Вздор, — повторил я, — совершенный вздор! — Я подошел к Вертоградскому вплотную и сказал, глядя прямо ему в глаза: — Не Якимов украл, а Якимова похитили. Не Якимов скрывался, а Якимова скрывали. Он бежал сюда, чтобы спастись.

Я говорил тихо и очень многозначительно. Мне кажется, Вертоградский ждал, что сейчас я добавлю: «И похитили Якимова вы, Юрий Павлович». Он держался великолепно, но тень промелькнула в его глазах — легкая тень испуга. Я не собирался открывать свои карты, пока вакцина еще не в моих руках. Я отвел глаза от Вертоградского.

— Он боролся за вашу вакцину, Андрей Николаевич. Костров встал со стула. Он был очень взволнован.

— Если это так, Владимир Семенович...

— Это так, — перебил я его, — тогда что?

— Если это так, — Костров развел руками, — значит, мы очень виноваты перед ним.

— Счастье, если бы это было так, — задумчиво проговорил Вертоградский. — Но какие у вас основания?

Не сумею объяснить, каким образом, но я совершенно точно чувствовал, что он переживает. Я знал, что он внутренне себя успокаивает. Он говорит себе: «Нет, мне только показалось, что Старичков знает всё, — Старичков ни о чем не догадывается».

Меня это совершенно устраивало. Я хотел, чтобы он то впадал в отчаяние, то вновь обретал уверенность. Я должен был измотать его. Измотать так, чтобы он сам признался, чтобы он выдал мне себя, чтобы он сам указал, где вакцина.

— Руки! — сказал я. — Его руки. Они были связаны не час и не два — сутки или больше, так они затекли. На ногах у него раны от веревок.

Конечно, Вертоградскому очень хотелось узнать во всех подробностях мои выводы. Он обязательно должен был знать, до какой степени далек я от правды или до какой степени близок к ней. Но он промолчал, понимая,

что все равно Андрей Николаевич или Валя расспросят меня обо всех подробностях.

— Но кто же его держал связанным? — спросил Костров.

— Тот, о ком говорил Вертоградский, — ответил я. — Шульц, или Шварке, или как там его зовут. Не верьте в эту святую легенду о запутавшихся и слабых. Есть шпионы, и есть честные люди.

Теперь Вертоградский решил сам задать вопрос. Он понимал, что не спрашивать тоже неестественно с его стороны.

— Но где же этот Шульц? — спросил он. — Надо его искать.

Я не ответил. Повернувшись к Кострову, я сказал:

— Андрей Николаевич, я прошу вас и Валю поднять-ся наверх, плотно занавесить окно и лечь отдохнуть.

— Я не смогу отдыхать, Владимир Семенович, — сказал Костров.

— Надо, Андрей Николаевич!

Я говорил резко и категорически. Я хотел, чтобы Вертоградский понял, что я нарочно усылаю Костровых, что я хочу остаться наедине с ним. Пусть он опять насторожится, пусть ждет новой атаки. Я не хотел давать ему передышки. Пусть он будет все время в напряжении.

— Валя, — командовал я, — ведите отца наверх. Я не могу вам позволить сидеть внизу, когда здесь каждый угол простреливается из окон.

Пожав плечами, Костров побрел по лестнице вверх. Валя шла за ним. Я молча провожал их взглядом, пока они не поднялись в мезонин и не закрыли дверь. Я хотел, чтобы Вертоградский чувствовал, что предстоит серьезный разговор наедине.

Когда дверь в мезонин закрылась, я круто повернулся к Вертоградскому. Он зевнул чуть более спокойно, чем это было бы естественно.

— Вы не выспались, Юрий Павлович? — спросил я лениво. — Давайте, может, чаю попьем?

— С удовольствием! — радостно сказал Вертоградский; у него опять отлегло от сердца. — Чайник остыл. Подогреем?

— Ничего, если крепкий, выпьем и так. — Я попробовал чайник. — Он еще теплый.

Я разлил чай, и мы сели друг против друга, оба спо-



койные и немного ленивые, словно два приятеля собрались поскучать вечером.

— Мы, сибиряки, любим чай, — сказал я. — Вы не из наших краев, случайно?

— Тверяк, — сказал Вертоградский.

— Никогда в Калинин не был. Хороший город?

Вертоградский отхлебнул чаю.

— Мне нравится. — Он откинулся на спинку стула и вытянул ноги. Всем своим видом он показывал полное благодушие и довольство. Если он и переигрывал, то разве самую чуточку. — Не знаю, конечно, — добавил он, — что с ним немцы сделали.

— Там и учились? — спросил я.

Вертоградский зевнул:

— Среднюю школу там кончал.

Должно быть, он в уме повторял свои биографические данные, чтобы не сбиться при быстром опросе. Я тоже зевнул.

— А я в Иркутске учился, — сказал я. — Старинный купеческий город. Отец у меня в гимназии преподавал. Математику.

На всякий случай Вертоградский предупредил мои вопросы:

— Я уж стал забывать Калинин. Не был там с тех самых пор, как школу кончил.

— У меня приятель есть из Калинина, — вспомнил я. — Вы в какой школе учились?

— В тринадцатой полной средней.

Я усмехнулся:

— Положим, я не знаю, в какой он школе учился. Сеня Сапожников, не слыхали?

— Нет. Он тоже следователь?

— Инженер.

Теперь я хотел, чтобы Вертоградский успокоился. Пусть он решит снова, что ему только показалось, будто я его собираюсь допрашивать. Пусть он поругает себя за излишнюю мнительность.

— Это я только сдуру таким невеселым делом занялся, — продолжал я. — Ни поспать, ни поесть. — Я встал и потянулся. — Спать хочется смертельно, а работы еще до самого утра! Надо писать протокол осмотра. Придется вам одному поскучать.

Я пошел к лаборатории, но в дверях задержался.

— Вы знаете, Юрий Павлович, — сказал я дружелюбно, — придется вас попросить не спать. Мало ли что может случиться. Сами понимаете, какая сейчас обстановка. Надо беречь старика.

— Конечно, конечно, — охотно согласился Вертоградский. — Можете быть спокойны, с места не сойду.

Я кивнул ему головой и закрыл за собою дверь.

## II

Вероятно, я сделал ошибку, оставив Вертоградского одного, но в ту минуту я рассуждал так: пусть Вертоградский побудет один. Пусть он без помех вспоминает разговор со мной, объясняет и истолковывает мои слова, мои интонации, выражение моего лица. То ему будет казаться, что я знаю все, что в любую минуту могу его разоблачить, то, наоборот, что я ничего не знаю, что все это только его мнительность, его излишне возбужденные нервы. Пусть думает Вертоградский и передумывает. От таких мыслей люди становятся еще мнительней, еще неуверенней.

Закрыв за собою дверь, я сел и закурил. Меня поразила тишина. Как-то вдруг я ее услышал и сначала даже не понял, в чем дело. Дождь перестал, и стих ветер. Я открыл окно. С листьев и с крыши одна за другой ритмично падали капли. С водостока они с громким плеском падали в лужу. Падая с деревьев, они ударялись о мокрую травянистую землю, и звук у них был совершенно другой. Раз за разом они повторяли одну и ту же мелодию. Лес спокойно отдыхал от потоков дождя, от свиста ветра. Мелодия, которую выстукивали капли, была такая простая и радостная, как будто лес и земля сложили ее в честь тишины и покоя.

Начинало светать. Наступал тот неуловимый момент, когда ночь переходит в утро, когда ничто, кажется, не меняется, но, незаметно для глаза, отчетливее становятся контуры предметов, черный цвет неуловимо переходит в серый, и постепенно выступают из темноты не только линии, но и краски предметов. Тучи ушли, звезды выступили на небе, но и небо уже серело, и звезды меркли.

Я залюбовался недвижимым, отдыхающим лесом. Свежий, чудесный воздух я вдыхал с неизъяснимым наслаждением. На минуту я забыл, что за моей спиной на столе

лежит труп, а за тонкой дверью ходит не пойманный еще убийца. Очень скоро мне пришлось вспомнить об этом.

Раздался звон стекла и почти сразу за этим выстрел. В два прыжка я оказался у двери и ударом ноги распахнул ее. Посреди комнаты стоял Вертоградский, взволнованный и дрожащий, сжимая в руке наган. У окна, на полу, посреди осколков стекла, лежал вымазанный в грязи, мокрый человек. Тонкая струйка крови вытекала из маленькой дырочки на виске.

— Кажется, я убил его! — задыхаясь сказал Вертоградский.

Я наклонился над трупом. Нетрудно было узнать Грибкова. Я торопливо провел руками по его одежде. Карманы были пусты, вакцины и дневника не было. Я повернулся к Вертоградскому. Костров и Валя торопливо спускались по лестнице. Мне было не до них. Я подошел к Вертоградскому и быстро провел руками вдоль его тела. При нем тоже не было дневника и вакцины. Он смотрел на меня растерянными, полубезумными глазами. Он, кажется, действительно был очень взволнован.

— Как это было? — спросил я резко.

— Разбилось стекло, — сказал Вертоградский. — Я обернулся и увидел — он лезет в окно... Я выстрелил раньше, чем он...

У него сильно дрожали руки — так дрожали, что дуло нагана ходило вниз и вверх.

— Спрячьте оружие, — сказал я и добавил: — Лучше бы вы промахнулись...

За окном раздались голоса.

— Старичков, Старичков! — еще издали кричал Петр Сергеевич.

Я высунулся в окно. Петр Сергеевич, задыхаясь, бежал к дому. В сером предутреннем свете я увидел еще нескольких человек, бегущих за ним.

— Все благополучно? — спрашивал Петр Сергеевич на ходу.

— Благополучно, — ответил я. — Входите.

Он вбежал в комнату, задыхающийся, потный, взволнованный.

— Кто ж его знал, что он сюда побежит! — говорил он. — Ребята мои чуть на него не напоролись... Он все думал — пройдут, не заметят. Ну и угодил в луч фо-

наря и, сукин сын, так припустил! Ухитрился, черт, обвести их вокруг озера... Кто же мог думать, что он сюда прибежит!.. Это кто — ты его так, Старичков?

Я указал на Вертоградского:

— Юрий Павлович.

— Герой, герой! — заговорил опять Петр Сергеевич. — Прямо герой! Смотри, какие доценты бывают!..

Один за другим входили в комнату запыхавшиеся преследователи. С наганами в руках, возбужденные, грязные, тяжело дыша, они толпились вокруг лежащего на полу Грибкова.

— Ну, ну, товарищи, — сказал я сердито, — что это вы, в самом деле! Как-никак, следствие идет. Прошу прощения, но придется всем лишним оставить комнату.

По совести говоря, не очень довольные у них были лица. Действительно, жалко было выгонять их на улицу. Но, делать нечего, беспрекословно, один за другим, они вышли из комнаты. Остались Костровы, Вертоградский и Петр Сергеевич.

### III

— Ну-с, Петр Сергеевич, — спросил я, — так значит, товарищ Грибков на хорошем счету в отряде?

Интендант развел руками:

— Артист, ничего не скажешь...

— Ведь ты говорил, что его из другого отряда прислали и вы в том отряде проверили?

— Проверили, — подтвердил Петр Сергеевич.

— Так как же?

— Голова кругом идет. Единственное, что на ум приходит — да, наверно, так и есть, — что вышел из того отряда настоящий Грибков, а пришел к нам ненастоящий.

— Не понимаю, — сказала Валя.

— Да очень просто: по дороге убили и забрали документы. Иначе не может быть. Я сам разговаривал с его прежним начальством, спросил, действительно ли к нам партизан Грибков послан. «Действительно, — говорит, — послан». — «А что он, — спрашиваю, — за человек?» — «Хороший, — говорит, — человек». Конечно, надо бы поточней проверить. Ну, что ж делать, не предусмотрели...

Костров с сердцем стукнул ладонью по перилам лестницы:

— Эх, Петр Сергеевич, что мы из-за него потеряли!

— Может, еще и найдется, — успокаивающе сказал интендант.

— Куда там! — Костров махнул рукой. — Я не маленький, я отлично все понимаю, нечего меня утешать. Конечно, Юрий Павлович не виноват, на его месте каждый бы выстрелил, но, думается мне, этот выстрел нам дорого обошелся.

— Почему же? — спросил Петр Сергеевич.

Хороший он был человек и неглупый, но соображал довольно медленно. Костров был слишком возбужден, чтобы быть вежливым.

— Что же вы, не понимаете, что ли? — резко сказал он. — Да ведь это же яснее ясного. Единственный человек, который мог указать, где вакцина, это Грибков — тот, кто ее украл и спрятал. Подите спросите у него! Где вы искать будете? На болоте? В дуплах? Под кочками? — Костров решительно подошел ко мне, в возбуждении пощипывая бородку. — Я не вмешиваюсь в ваши дела, Владимир Семенович, — сказал он, — вы следовательно, а я биолог, и, надо думать, вы лучше меня знаете, как ловить преступников, но только, я вам скажу, есть вещи, которые ясны и неспециалисту. Если бы вместо того, чтобы качаться в качалке и вспоминать с Вале́й старину, вы сразу занялись делом, так, наверно, вакцина уже лежала бы у меня в кармане.

— Папа, — сказала Валя, — успокойся и перестань. Ты не имеешь права так говорить.

— Нет, имею! — Старик окончательно вышел из себя. — Я годы потратил на эту работу! Я не спал неделями! И я буду жаловаться. Я буду жаловаться на то, что сюда прислали неквалифицированного специалиста — на серьезное дело направили начинающего работника. К тому же еще, извините меня, Владимир Семенович, до крайности легкомысленного...

Он весь кипел. У него, наверно, много еще было в запасе злых и сердитых слов, но он сдержался, махнул рукой, повернувшись быстро поднялся по лестнице и с шумом захлопнул за собою дверь.

Сердитый был старик, но хороший. Мне он всегда нравился, даже сейчас.

Все молчали. Потом Валя сказала:

— Вы извините папу, Володя, он очень нервничает. Ему очень дорога эта вакцина.

Я усмехнулся.

— Это естественно, — сказал я. — Вероятно, я на его месте и не так бы еще ругался. Но простите, товарищи, мне придется продолжать работу. Вас, Валя, я попрошу пойти к Андрею Николаевичу, успокоить его и посидеть с ним. Я буду осматривать труп и заниматься разными вещами, при которых совсем не обязательно присутствовать... Петр Сергеевич, хорошо, если бы вы организовали поиски телеги и лошади. Теперь светает, можно уже этим заняться. Я вас только попрошу поставить вокруг дома охрану.

— Охрану? — удивился Петр Сергеевич. — От кого ж теперь охранять? Ведь Грибков убит.

— Так-то оно так, а все же лучше застраховаться: вдруг у него был сообщник?

— Пожалуйста, — сказал Петр Сергеевич. — Как хотите.

Он кивнул головой и вышел. Я думаю, что в душе он был совершенно согласен с Костровым в оценке моей работы, но он был дисциплинированный человек и считал себя обязанным выполнять мои требования.

— А вам, Юрий Павлович, — сказал я, — советую пойти на кухню — там есть топчан, — лечь и поспать.

— Я не засну, — сказал Вертоградский.

— Ну все равно, посидите, помечтаете, скоро солнце взойдет. Я вас попрошу только из кухни не уходить. Может быть, мне придется попросить вас помочь мне.

— Хорошо, — сказал Вертоградский, — я буду там.

Он вышел на кухню. Валя немного замешкалась. Ей, наверно, хотелось утешить меня в моих неудачах, но она не нашла слов или просто не решилась сказать их и молча поднялась наверх к отцу.

Наконец я остался один.

Я наклонился над трупом. Пуля вошла в висок. Аккуратно, в самую середину виска. Края раны были слегка обожжены. Вероятно, Вертоградский стрелял с очень близкого расстояния, почти в упор. Я еще раз, более тщательно, обыскал одежду. Карманы были пусты. Ни документов, ни даже табака. Тело лежало лицом вниз у самого окна. Ноги упирались в стену несколько выше

пола. Очевидно, Грибков уже мертвый вывалился в окно. Это соответствовало словам Вертоградского. Грибков выбил стекло и влезал в комнату, когда его настигла пуля. Он упал, не успев ступить на пол. Подоконник был весь мокрый и грязный. Удивительно много натекло воды и грязи за две-три секунды.

Стекло было выбито целиком. Окно приотворено, правда, совсем немного, сантиметра на два-три. После появления Якимова окно мы тщательно закрыли. Оно, конечно, могло открыться, когда Грибков снаружи нажимал на стекло или раму. Могло быть и так: Грибков выдавил стекло, потом полез в окно. Грузный, большой человек, он с трудом пролезал сквозь раму. В это время рама открылась. А если она была закрыта на шпингалет? Я тщательно осмотрел окно: шпингалет входил в выдолбленное в подоконнике углубление; углубление засорилось, края его стерлись. Если сильно нажать шпингалет, он поднялся сам. Я попробовал это проделать. В лаборатории Кострова не очень-то обращали внимание на крепость запоров. Валя правильно говорила: немцев запорами не удержишь, а воров здесь нет.

С этой точки зрения все было объяснимо. Грибков высадил стекло, пытался пролезть сквозь раму и в этот момент был убит и рухнул на пол у самого окна. Теперь подумаем, зачем ему нужно было лезть в дом.

Застрелив Якимова, он побежал. За ним погнались. Он был растерян, подавлен преследовавшими его неудачами. Якимов бежал, все открылось; надежд на спасение, в сущности говоря, оставалось мало. В этих условиях человек теряется и делает много бессмысленных и нелогичных поступков. Он пытался пританцовывать, рассчитывая, что погоня пройдет мимо него. Опять неудача: его заметили и окружили. Теперь оставалась надежда только на неожиданный, отчаянный ход. Пожалуй, действительно лаборатория была единственным местом, где его не стали бы искать. Конечно, спастись тут один шанс из тысячи, но в других местах и этого шанса нет. Он бросается к дому.

Тут могут быть две возможности. Заглянув в окно, он увидел, что в комнате никого нет, кроме его сообщника Вертоградского. Может быть, он тихо постучал, знаками умоляя Вертоградского впустить его. Но Вертоградский понимал, что дело проиграно и надо спасать

себя. Он отказался. Тогда в ярости, в отчаянии, понимая, что уходит последний шанс, Грибков выдавил стекло и попытался влезть в комнату, и в это время Вертоградский его пристрелил. Поведение Вертоградского логично: убивая Грибкова, он прятал в воду концы и становился даже активным участником поимки преступника. Поведение Грибкова не столь убедительно: Грибков должен был понять, что звон стекла привлечет внимание всех, кто находится в доме. Стекло выпало с громким звоном, а Грибков все-таки лез в комнату. Нелогично, но возможно. Отчаяние, растерянность. Бросается же на человека преследуемая крыса, понимая, что ей с человеком не справиться. Наконец, может быть, Грибков не думал уже о спасении и хотел только отомстить Вертоградскому.

Теперь рассмотрим вторую возможность: не думая, не рассуждая, Грибков лезет в окно с одной целью — отомстить Кострову, мне, Вертоградскому, всем тем, кто его преследует. В этом случае Вертоградский не преступник, а герой, спасший нам всем жизнь.

Первый вариант казался мне более вероятным. Я был убежден в виновности Вертоградского. К сожалению, мое убеждение было построено на доводах таких шатких, таких неубедительных, что они никак не могли послужить материалом для официального обвинения.

Два обстоятельства привлекли мое внимание, и я чувствовал, что их следует хорошенько продумать. Во-первых, выстрел раздался сразу же вслед за звоном стекла. Точно Вертоградский ожидал появления Грибкова в окне! Грибков выдавил стекло и сразу же за тем был убит. Но за эту секунду он успел пролезть сквозь узкую раму настолько, что после выстрела свалился не наружу, а внутрь дома. Во-вторых, подоконник был весь в грязи, но оконный переплет был запачкан очень мало. Я еще раз осмотрел одежду Грибкова. Грязь была и на плечах, и на спине, и на животе; он был в грязи буквально весь, с ног до головы. А боковые части рамы остались чистыми. Не мог же он, протискиваясь сквозь раму, не оставить на ней следов! Кроме того, одежда оказалась совершенно цела: ни пиджак, ни брюки не были разрезаны или разорваны осколками стекол, торчавшими кое-где из оконной замазки. Значит, он лез в открытое окно? Два эти обстоятельства сразу повернули мои мысли в другую сторону.



ТЕТРАДЬ И КОРОБКА

I

У Грибкова не было ни вакцины, ни дневника. Где они могли остаться? Украв гелегу, он пришел за Якимовым. Он пришел, чтобы увезти его с Алеховских болот. В это время вакцина, конечно, была у Грибкова. Якимов бежал, Грибков бросился его преследовать. Не мог он успеть спрятать вакцину, не до этого ему было. Нельзя терять ни секунды. Якимов убит, за Грибковым устремляется погоня. Он бежит. Прятать вакцину снова некогда. Конечно, он может бросить ее в кусты, мимо которых пробегает, или торопливо засунуть в дупло. Во всяком случае, искать ее придется уже не по всему болоту, а только по пути бегства Грибкова. Это значительно легче. Как только рассветет, надо будет заняться поисками. Петр Сергеевич укажет путь, по которому преследовали Грибкова, и мы обыщем каждый кустик.

Когда рассветет... Я посмотрел в окно и увидел, что уже совсем светло. Наступало тихое, ясное утро. Лес, до блеска вымытый дождем, стоял не двигаясь, не дыша. Небо было ясное, чистое, безоблачное. Далеко, за болотами, за лесом, всходило солнце. Тысячи капель на траве и на листьях сверкали одна другой ярче. Длинные тени деревьев легли на поляну. Первый красный луч солнца осветил комнату. Я погасил лампу. День начался.

Такой он был хороший, такой радостный, этот день, что вдруг показалась мне неестественной, неправдоподобной та сеть обманов, интриг, преступлений, которой мы все были окружены. Нелепыми казались на фоне этого дня ненависть, хитрость, лживость. Я постоял у окна, с удовольствием вдыхая запах свежей зелени и влажной земли, потом провел рукой по лицу. Пора было возвращаться к работе.

Больше всего меня угнетало, что Вертоградский выskalзывал из моих рук. Якимов, единственный свидетель его преступления, был убит. Соучастник, который мог его выдать, был убит тоже. Мое убеждение ничего не значило. Судье нет дела до предположений следователя, — нужна улика, бесспорная, ясная, неопровержимая. Улики этой не было, и трудно было надеяться на

ее появление. Моей версии Вертоградский мог противопоставить свою, ничуть не менее убедительную, и когда я стал продумывать ее, она даже мне показалась заслуживающей внимания. Очень все хорошо объяснялось и без участия Вертоградского. Предвзятость — это бич следователя. Я знаю, как опасно, как губительно, увлекшись своим предположением, начать подгонять под него факты. Сколько ложных теорий, сколько проваленных следствий бывает в результате излишнего уважения к собственной гипотезе! Может быть, действительно Вертоградский ни при чем? Может быть, следует удовлетвориться тем, что преступник Грибков лежит убитый, отыскать в кустарнике или в дупле спрятанную вакцину и счесть следствие конченным? Но сначала нужно было понять, почему не запачкана рама, через которую протискивался Грибков, и почему так быстро последовал выстрел, после того как разбилось стекло.

Может быть, Грибков открыл окно, полез в него и случайно выдавил стекло. Тогда Вертоградский, который раньше не слышал, как лезет Грибков, вскочил и выстрелил. Собственно говоря, это объясняло и вторую странность. В этом случае вполне естественно, что выстрел последовал сразу за звоном стекла. У меня даже возникло чувство некоторого разочарования: так легко и просто объяснились все неясности. Да, видимо, надо идти искать вакцину. Разумеется, Грибков мог бросить ее в какой-нибудь ручеек или в топкое место или успел засыпать землей. Попробуй тогда найди. Во всяком случае, обыскать лес — это единственное, что теперь можно сделать. На этом мои обязанности кончаются. Преступник изобличен и убит, для поисков похищенного приняты все меры. Конечно, я в этом принимал довольно мало участия, но что же делать, так сложились обстоятельства. Это одно из тех дел, которые не приносят следователю ни позора, ни славы. Поначалу оно казалось трудным, но потом решилось само собой.

Я уже подошел к двери. Я решил позвать Вертоградского, перетащить Грибкова в лабораторию и идти за Петром Сергеевичем, чтобы начинать поиски вакцины. Но у самой двери я остановился. Невозможно было так кончить дело. Пусть это будет предвзятость, пусть это бу-

дет что угодно, но я всем нутром был убежден, что Вертоградский виновен.

А нет ли еще другой версии, которая бы так же убедительно объясняла все факты?

## II

Я закурил. Представим себе, что Вертоградский соучастник. Отказаться от этого никогда не будет поздно. Грибков бежит к дому, надеясь, что Вертоградский его спасет. Преследователи отстали, у него есть несколько минут. В комнате свет. Заглянув в щелку, Грибков видит, что Вертоградский один. Он стучит, даже не стучит — только царапает стекло. Тихо, на цыпочках, чтобы никто не услышал, Вертоградский подходит и открывает окно. Шепотом они разговаривают. Грибков просит Вертоградского спрятать его, Вертоградский соглашается. Соглашаясь, он уже знает, что сейчас убьет своего сотоварища по преступлению. Он говорит Грибкову: «Лезь». Грибков лезет в открытое окно (поэтому нет грязи на раме). В ту минуту, когда он готов уже прыгнуть на пол, Вертоградский локтем ударяет в стекло и сразу же отскакивает на шаг назад. Вероятно, Грибков еще не понимает, в чем дело. Он с удивлением смотрит на Вертоградского, и в этот момент Вертоградский стреляет.

Ну что ж, этот вариант звучит почти так же убедительно, как и другое предположение: Грибков лез в окно без согласия Вертоградского, и Вертоградский его убил, защищая себя, Кострова, меня.

Тут я патыкался на непреодолимое препятствие: оба варианта были одинаково возможны. Я буду доказывать одно, Вертоградский — другое, и Вертоградский будет оправдан за недоказанностью вины. Я сжал руками виски. Что-то надо было еще найти. Не рассуждение, не предположение, а факт.

Я ходил взад и вперед, думал и передумывал и не мог найти никакого решающего довода в пользу той или другой гипотезы.

«Черт с ним, — решил я. — Так ничего не придумаешь. В конце концов, главное сейчас — найти вакцину».

Вдруг меня осенило. Если я прав и Вертоградский был соучастником Грибкова, если Грибков бежал к Вертоградскому, рассчитывая, что тот его спрячет и спасет, то

зачем ему нужно было выбрасывать вакцину в лесу? Наоборот, он должен был передать ее Вертоградскому. После того как раздался выстрел, я был в комнате через секунду или две. Я сразу, хотя и поверхностно, обыскал Вертоградского. При нем вакцины не было. У Грибкова ее тоже нет. Значит, Вертоградский успел ее спрятать. Одно цеплялось за другое. Если удастся доказать, что Вертоградский спрятал вакцину, этим будет доказано его участие в похищении. Теперь я знал, что мне искать. Я снова стал восстанавливать события. Значит, Вертоградский спрятал вакцину до выстрела. У него было очень мало времени. Не мог же он вести с Грибковым длинные разговоры, искать подходящий тайник, зная, что в любую секунду я, Костров или Валя можем войти в комнату...

Грибков постучал. Вертоградский открыл окно.

«Спрячь меня! За мной гонятся. Здесь меня не будут искать».

«Вакцина и дневник при тебе?»

«Да, вот они».

«Давай, я их спрячу».

Вертоградский торопливо прячет их. Дорога́ каждая секунда. Он спрятал.

«Теперь лезь».

И тогда удар по стеклу и выстрел...

Все решалось чрезвычайно просто. Если вакцина в комнате, я прав, если ее здесь нет — Вертоградский невинен, как новорожденный младенец.

Метр за метром я стал осматривать комнату. Все половицы были крепко сколочены, ни одна из них даже не шаталась. В бревенчатых стенах спрятать ничего невозможно. Печка? Я осмотрел ее и перетрогал все кирпичи. В печке ничего не было. Я вытащил из глиняного горшка цветы и заглянул внутрь. Я снял со стола скатерть. Я заглянул в чуланчик под лестницей. На полу у стенки стояли запыленные, треснутые, с отбитыми краями стеклянные колбы; очевидно, их ставили сюда за ненадобностью. На полке лежали связки бумаг, стояла банка из-под консервов с засохшим клеем и бутылка с чернилами. На второй полке лежали коленкоровые тетради и коробки с глюкозой. Я раскрыл верхнюю тетрадь, надеясь, что она окажется дневником. Но в ней были только чистые листы. Я закрыл чуланчик и снова оглядел комнату. Больше искать было негде.

Я стал думать за Вертоградского. Вот я взял у Грибкова дневник и вакцину. Времени нет, надо сейчас же спрятать. Куда? За дверью Старичков, он сию минуту может войти. Беспомощно я оглядывал комнату. Когда треснула половица, я даже вздрогнул, как будто действительно мне угрожала смертельная опасность.

«Куда, куда спрятать? — мысленно повторял я. — В печке сразу найдут, в чуланчике тоже». И вдруг я нашел единственный верный и простой выход. Я бросился к чулану и распахнул дверь. Я вытащил пачку тетрадей и стал перелистывать их. Белые листы мелькали перед моими глазами. Одну за другой я откладывал тетради в сторону. Это действительно были чистые тетради. И все-таки я был убежден, что дневник здесь, — настолько убежден, что даже не удивился, когда, раскрыв самую последнюю лежавшую внизу тетрадь, увидел, что она исписана бесконечными рядами цифр. Я осмотрел обложку. Она была смята в середине, и тетрадь, когда я положил ее на стол, слегка согнулась. Ее носили в кармане, сложенную пополам.

Дневник был в моих руках. Теперь дело за вакциной. Конечно, она в одной из этих одинаковых картонных коробок. Но как узнать, в какой? Глюкоза тоже бесцветна, и ампулы так же запаяны. Я внимательно оглядел стопку коробок. Коробка с вакциной, как и тетрадь, лежала в самом низу. Я узнал ее потому, что она была влажная, — может быть, вода проникла в карман Грибкова, может быть, он просто держал ее мокрой рукой. Она не могла бы быть влажной, если бы все время находилась в чулане.

Я так заволновался, что чуть было не позвал Кострова, но, к счастью, сдержался вовремя. Дневник и вакцина были в моих руках, но Вертоградский не был изобличен.

### III

Я взял чистую тетрадь и согнул ее пополам так, чтобы на ее переплете образовались морщины. Смочил водой одну из коробочек с глюкозой. Тетрадь я положил под стопку с тетрадями и мокрую коробку — под стопку коробок. Дневник и вакцину я спрятал к себе в карман. После этого я закрыл дверцу чулана и позвал Вертоградского.

Он вошел сразу же. Как он ни был хладнокровен, а

все же, наверно, здорово волновался, сидя на кухне. Небось, десять раз проверял и продумывал, не допустил ли ошибки, не забыл ли чего-нибудь. Войдя, он кинул на меня быстрый взгляд. Думаю, что у меня был достаточно спокойный и усталый вид. Он, по-видимому, успокоился.

— Давайте, Юрий Павлович, перенесем Грибкова в лабораторию.

Мы положили Грибкова в лаборатории на полу и прикрыли его одеялом. Теперь убийца и убитый лежали в одной комнате.

— Ну как, Владимир Семенович? — спросил Вертоградский. — Обнаружили что-нибудь важное?

— Нет, — сказал я. — Но некоторые надежды найти вакцину у меня появились.

Он живо заинтересовался.

— Да? — спросил он. — Каким же образом?

Я стал увлеченно объяснять ему, что Грибков мог спрятать вакцину только около дома, потому что рассчитывал бежать с болот и, конечно, носил ее при себе.

Вертоградский оживился.

— Правильно, — сказал он. — Это вы здорово рассудили. Вы знаете, это огромное счастье: вакцина — действительно замечательное открытие. И потом, Андрея Николаевича жалко, он ведь буквально только этим и жил.

Мы с ним еще немного побеседовали на эту тему. Отношения у нас установились чрезвычайно дружественные.

— Самое интересное в вашем деле, — говорил Вертоградский, — это, конечно, не допросы, не обыски, не сбор показаний, а именно работа мысли, когда вы, основываясь на незаметных неопытному глазу данных, делаете точные и ясные выводы, которые потом оправдываются. Это действительно увлекательно.

Ехидный он был человек и, наверно, издевался надо мной в глубине души. Но я на него не сердился за это. Мое слово было еще впереди.

Мы с ним вымыли подоконник и пол возле окна, убрали осколки стекла и вообще уничтожили все следы происшедших событий. Мы работали, как добрые товарищи, помогая друг другу.

Солнце поднялось над деревьями. Был седьмой час утра.

— Когда же вы будете лес обыскивать? — спросил Вертоградский.

— Вот Петр Сергеевич придет, — сказал я, — сразу и отправимся.

Петр Сергеевич легок был на помине. Он вошел веселый и энергичный, как будто всю ночь крепко проспал у себя в постели.

— Доброе утро, — сказал он.

— Нашли телегу?

— Как же, как же! Шагах в пятнадцати от дороги. Я ее там и оставил. Потом пойдем с вами посмотрим.

Петр Сергеевич посмотрел на меня и на Вертоградского. Что-то ему нужно было сказать, и он не решался.

— Выкладывайте, Петр Сергеевич, — помог я ему. — Что у вас там еще?

— Так ведь сегодня ночью... — Он опять замялся.

— Ну, ну? — поддержал я его.

— Сегодня ночью, — решился наконец Петр Сергеевич, — самолет прилетит. Я связался с Москвой, мне говорят: «Как Старичков решит. Если он не возражает, отправляйте Костровых во что бы то ни стало».

— Ну, до ночи еще далеко, — сказал я.

— Да ведь как далеко! Пока до аэродрома доберутся, то да сё... Часа через два надо выезжать.

— Ну что ж, — сказал я, — дело хорошее. Конечно, надо старика отправлять.

Петр Сергеевич спясть замялся:

— А старик не упрется? Он ведь ой какой характерный!

— Из-за того, что вакцины нет?

— Да.

Я посмотрел на Вертоградского.

— Мы с Юрием Павловичем думаем, — сказал я, — что найдется вакцина.

Вертоградский потер руки с довольным и немного заговорщицким видом.

— Да, думаю, что найдется, — сказал он.

Удивительно, как быстро входил этот человек в новую роль соучастника следствия! Мы с ним весело подмигнули друг другу. Услыша наши голоса, Валя вышла на лестницу.

— Что случилось? — спросила она.

— Спускайтесь, Валентина Андреевна. Есть новости.

— Какие новости? — Взволнованный Костров уже спускался из своего мезонина.

Петр Сергеевич заложил руки за спину и торжественно произнес:

— Приказ из Москвы, Андрей Николаевич, вам, вашей дочери и Юрию Павловичу сегодня же вылететь в Москву.

— То есть как? — Костров заволновался ужасно. — Без вакцины? Об этом и речи не может быть!

— Простите, Андрей Николаевич, — вмешался я, — время, знаете ли, военное. Приказ говорит точно: отправить вас троих сегодня ночью. Отвечает Петр Сергеевич. Вам ничего не сделают, а его могут судить по законам военного времени.

Петр Сергеевич посмотрел на меня с удивлением, но не только не стал возражать, а даже печально вздохнул: да, мол, вы капризничаете, а мне за вас под суд.

Костров нахмурился и молчал.

— Вы можете, — сказал я, — в Москве добиться, чтобы розыскам вакцины был придан более широкий размах.

Костров насторожился и посмотрел на меня.

Я продолжал, стараясь, чтобы слова мои звучали как можно простодушней и искренней:

— Разумеется, я останусь здесь, но что я могу сделать один, без достаточного опыта? А вы можете потребовать, чтобы послали более квалифицированного следователя.

Он посмотрел на меня из-под сердито нахмуренных бровей. Минута колебаний, и профессор решился.

— Хорошо, — сказал он. — Я полечу, но имейте в виду, что я буду жаловаться не только на тех, кто послал именно вас на это ответственнейшее дело, но и на вас самих. Вы проявили не только неопытность и неумение, но и недопустимую лень, и прямую халатность.

Я молча поклонился.

Петр Сергеевич облегченно вздохнул. У него и так было хлопот по горло. При всей привязанности к семье Костровых, он очень хотел, чтобы они уже были в Москве.

— Завтракайте и собирайтесь, — сказал он. — Часа через два надо ехать на аэродром.

— Часа через два? — Валя засуетилась. — Ой-ой! Надо же поесть что-нибудь. Я тогда печь не буду топить. Чайник на лучинках согрею и поедим холодного. Ладно,



товарищи? Юра, идите за водой сейчас же. Скорей, скорей!

— Есть идти за водой! — весело рявкнул Вертоградский и, смешно выворачивая ноги, размахивая руками, выбежал из комнаты.

Петр Сергеевич подошел к Кострову и спросил:

— То, что вы берете с собой, у вас уложено?

— Главное украдено, — ответил Костров, — а остальное — вздор.

— Вы бы лишние бумаги сожгли. Все-таки тыл противника...

— Что ж, это правильно. А где жечь?

— Да хоть в печке, — сказал я.

— У меня все ненужное свалено в угол. Сейчас я начну сносить.

Он ушел наверх за бумагами. На меня он так и не посмотрел. Он просто не замечал моего присутствия. Меня так и подмывало сказать ему, что вакцина уже у меня в кармане и сердиться на меня не за что, но я сдерживался. Мне хотелось закончить дело так, чтобы в Москве не пришлось спорить, виноват Вертоградский или не виноват.

— Когда же вы вакцину найдете? — спросил Петр Сергеевич.

— Успеем, — сказал я. — Вы можете позавтракать с нами?

— Откровенно говоря... — покачал головой Петр Сергеевич, — с временем туго.

Я посмотрел ему прямо в глаза и сказал:

— Позавтракайте.

Он прищурился, размышляя. Он понял, что даром я бы не стал настаивать.

— Хорошо, — сказал он.

Костров спустился сверху со связкой бумаг, положил их в печь и отодвинул заслонку. Я протянул ему спички, но он вынул из кармана свои. Он не хотел от меня никаких одолжений. Бумага весело запылала. Костров сходил еще раз наверх и принес огромную кипу. Вбежала Валя со стопкой тарелок и заставила меня расставить их на столе. Петр Сергеевич пристроился с кочергой к печке и стал ворошить горящие бумаги. Кажется, у всех, кроме Кострова, было приподнятое настроение, несмотря на события прошлой ночи. Вертоградский шум-

но влетел с ведром, полным воды, и стал требовать, чтобы мы посмотрели, какой он ловкий. Валя прикрикнула на него, отняла ведро и послала за ножами и вилками. Меня она заставила резать хлеб, Петру Сергеевичу велела нести стаканы. Она успокоилась только тогда, когда мы все были заняты делом.

Андрей Николаевич по-прежнему был молчалив и хмур. Он поднимался наверх, спускался, таща кипы бумаг, и как будто не замечал охватившего всех возбуждения.

Общими усилиями накрыли на стол. Принесли колбасу, соленые грибы и большой горшок кислого молока. Костров свалил у камина последнюю пачку бумаг и коротко сказал:

— Всё.

Валя внесла чайник.

— Прошу вас, товарищи, — сказала она, — на последний торжественный завтрак в лесной лаборатории профессора Андрея Николаевича Кострова.

## *Глава десятая*

### **ПОСЛЕДНИЙ ЗАВТРАК**

#### I

Мы сели вокруг стола. Вертоградский посмотрел на Кострова умоляюще.

— Андрей Николаевич, — сказал он, — вы знаете сами, что я страстный противник всякого пьянства. Вы знаете, что от рюмки водки меня пробирает дрожь отвращения. Но тем не менее кажется мне, что сегодня, ввиду чрезвычайных обстоятельств, а также того, что мы все провели тяжелую и бессонную ночь, и еще потому, что нам предстоит пробыть несколько часов на сыром, зараженном болоте, следовало бы выпить спирту, или, как иногда говорят, хлопнуть по стопочке.

— К сожалению, у меня нет спирта, — хмуро ответил Костров.

— Андрей Николаевич, — сказал Вертоградский, — я понимаю, что бывает святая ложь, но она все-таки ложь. Должен сказать, что, мучительно ненавидя этот вредный напиток, я всегда очень точно слежу за его расходом.

ванием и готов сейчас прозакладывать голову, что одна бутылка этой гадости лежит у вас в том ящике, где книги.

— Конечно, — сказал Петр Сергеевич, — по такому случаю выпить не грех.

— Может, позволишь, папа? — спросила Валя.

Костров хмыкнул очень неопределенно.

Это можно было принять и за согласие и за отказ. Вертоградский предпочел принять за согласие.

— Я сейчас принесу, — сказал он и с такой быстротой взлетел по лестнице, что Костров не успел и слова сказать.

Впрочем, он, видимо, не собирался спорить. Он даже слегка улыбнулся торопливости Вертоградского.

Вертоградский сразу же сбежал вниз и, торжествуя, поставил на стол бутылку. Разлили по кружкам, и Валя предложила тост за Красную Армию. Вертоградский сразу же налил снова.

— Времени мало, товарищи, — сказал он. — За Андрея Николаевича! За то, чтобы украденное нашлось, чтобы и про нас потом могли сказать: «Они помогли победе!»

Костров нахмурился.

— Рано за это пить. — Он встал и поднял кружку. — Выпьем, друзья, за Якимова!.. — Он помолчал. — Мы перед ним виноваты. Всю жизнь он работал как настоящий ученый и умер как настоящий ученый.

Мы все поднялись и в молчании выпили этот торжественный и печальный тост. Потом Вертоградский подбросил еще бумаги в печь, Петр Сергеевич заговорил о военных событиях, и постепенно за столом стало спать оживленно. Я посмотрел на часы. Оставалось часа полтора до отъезда. Пора было начинать последнее действие. Пока я продумывал, как перевести разговор на нужную тему, Костров неожиданно мне помог.

— Да, Владимир Семенович, — сказал он, — выпили бы и за вас, но, к сожалению, пока что не вижу повода.

Нельзя сказать, чтобы это была особенно любезная фраза, но по сравнению с полным игнорированием моего существования она являлась некоторым шагом вперед.

— Что делать, Андрей Николаевич! — сказал я с виноватым видом. — И на старуху бывает проруха.

— Папа, — вмешалась Валя, — ты напрасно сбижаешь Володю. Мы подозревали Якимова, а Владимир Семенович с самого начала его защищал.

— Но с Грибковым, — упрямо сказал Костров, — расправился все-таки Юрий Павлович.

— Тут моей заслуги немного, — скромно сказал Вертоградский. — Положение было безвыходное: или он меня, или я его. Просто выпалил с перепугу, и всё.

Я постарался, чтобы у меня был как можно более простодушный вид. Я хотел, чтобы все сидящие за столом поняли, что я огорчен своей неудачей, но, как парень добродушный и веселый, не обижаюсь на шутки и даже готов подшутить над собою вместе со всеми.

— Конечно, — сказал я, — лучше бы вы его только ранили, тогда его можно было бы допросить... Ну, ну, не сердитесь. Это просто досада следователя-неудачника. Подумайте только, как мне не повезло! За все следствие — ни одного допроса. Я вчера сгоряча даже Юрия Павловича обыскал.

Я сам засмеялся, и все засмеялись тоже. Действительно, это было смешно: простак-следователь, который, не умея поймать преступника, обыскивает всех без разбору, лишь бы что-нибудь сделать.

— Представьте себе, — сквозь смех говорил Вертоградский, — подошел и быстро — раз, раз!

Он вскочил из-за стола и очень живо изобразил всю сцену обыска. Сцена была исполнена не без юмора и, пожалуй, не без наблюдательности. Я смеялся так же, как все.

— Надо же было мне себя проявить, — объяснил я смеясь. — Следователь я, черт возьми, или нет?

Перестав смеяться, Вертоградский сел к столу и сказал серьезно и дружелюбно:

— Я не обижаюсь, Владимир Семенович. Я понимаю обязанности следователя. Очень было интересно следить за вашей работой. Удача, в конце концов, дело случая, но пронизательность вы проявили большую. Когда вы говорили, что Якимов не виноват, казалось, что факты все против вас. Честно говоря, я и сейчас не понимаю, как вы почувствовали это.

Он сам вызывал меня на разговор. Ну что ж, я охотно шел ему навстречу. Из всех присутствующих только я один знал, чем этот разговор кончится.

## II

— Видите ли, Юрий Павлович, — сказал я, — против Якимова было слишком много улик.

Вертоградский удивленно на меня посмотрел:

— Это следовательский парадокс?

— Нет, житейское правило.

Вертоградский пожал плечами:

— Вчера вы говорили наоборот: улик недостаточно.

Я усмехнулся.

— В сущности, это одно и то же. Улик было так много, что они вызывали сомнение.

Я говорил спокойно, неторопливо, как будто припоминая ход своих мыслей. Петр Сергеевич, Валя и Вертоградский слушали меня с интересом, как обычно слушают специалиста, рассказывающего о своей работе. Костров, отвернувшись, смотрел в окно и беззвучно барабанил пальцами по столу, желая этим показать, что мой рассказ совершенно его не интересует.

— Мне показалось, — продолжал я, — что меня настойчиво убеждают в виновности Якимова. Это заставило меня насторожиться. А тут случилась еще история с запиской. Я говорил уже, что не верю в кающихся шпионов. Да еще пишущих по-немецки. Да еще готическим, а не латинским шрифтом.

— А какую роль играет шрифт? — спросил Вертоградский. — Этого я не понимаю.

Он, конечно, понимал это не хуже меня, но я объяснил терпеливо:

— Попробуйте напишите что-нибудь готическим шрифтом; вы увидите, что остроконечные, готические буквы делают почерк неузнаваемым.

Я немного больше задержал на нем свой взгляд, чем это было бы естественно. Ровно настолько больше, чтобы у него мелькнула мысль, не знаю ли я, не догадываюсь ли. Потом я отвел глаза. Вертоградский усмехнулся, но мне его усмешка показалась не очень искренней.

— Очень остроумно, — сказал он. — Мне это совершенно не приходило в голову.

— Тогда пришлось предположить, что Якимов похищен.

— Почему похищен, а не убит? — спросил Костров.

Он наконец заинтересовался моим рассказом, уже не смотрел в окно и не барабанил пальцами по столу.

— Это мне подсказали вы, — сказал я.

— Я?

— Конечно. Дневник шифровал Якимов, у него был ключ шифра. Как же можно было убить Якимова?

— Верно! — воскликнула Валя; она была очень увлечена моим рассказом.

— А тут еще телега, — сказал я. — Я ждал чего-нибудь в этом роде — телеги, автомобиля, просто лошади. Живого человека на руках не унесешь. Когда исчезла телега, я понял, что был прав.

Петр Сергеевич хлопнул ладонью по столу.

— Здóрово! — сказал он. — Это здóрово. Надо выпить за следователя.

— Спирту у нас меньше, чем тостов, — сухо сказал Костров и, повернувшись к Петру Сергеевичу, продолжал совсем другим, дружеским тоном: — Через час, через другой мы расстанемся с вами, Петр Сергеевич. Хочу вам на прощанье сказать, что я все помню. Может, вам иногда казалось, что я не понимаю, как много вы для нас сделали... — Он кашлянул немного смущенно: — Я не особенно разговорчив... — Он поднял кружку:

— Ваше здоровье, дорогой друг!

Петр Сергеевич встал и вытер губы. Поднялся и Костров. Они поцеловались троекратно, как полагается в этих случаях. Потом подбежала Валя к Петру Сергеевичу, потом подошел Вертоградский. Интенданта обнимали, целовали и растрогали вконец. Он даже всхлипнул от глубины чувств и чуть было не прослезился.

— Спасибо, друзья, — сказал он. — По совести говоря, сколько раз я мечтал сплавить вас подальше куда-нибудь, в Москву или на Урал.

— Помилуйте, — закричала Валя, — что ж мы вам — надоели тут?

— Ну, знаете, — Петр Сергеевич развел руками, — конечно, приятно иметь в партизанском отряде научно-исследовательскую лабораторию, но хлопотно, не буду скрывать, очень хлопотно. Как-то Алеховские болота мало приспособлены для научной работы.

— Позор! — сказал Вертоградский. — Мы к нему с открытой душой, с дружбой, а он, оказывается, нас выгнать хотел.

— Хотел, хотел, — признался Петр Сергеевич, — а сейчас жалко будет расстаться. Вернемся домой, станем жить-поживать, а ведь этого никто из нас не забудет. Тысячу раз будем вспоминать и страшное, и смешное, и грустное. Детям нашим будем рассказывать. Как, Валентина Андреевна?

— Будем, — уверенно сказала Валя.

Петр Сергеевич повернулся к Кострову:

— Андрей Николаевич, вернетесь в наш город после войны?

— Как только лаборатория будет восстановлена, так и вернусь, — сказал Костров.

— За этим дело не станёт. Если в лесу наладили, так в городе уж как-нибудь. — Петр Сергеевич поднял кружку: — Ну, по последней — за встречу!

Все выпили. Выпил и я, хотя и чувствовал себя в этом тосте лишним. Действительно, про эту дружбу между профессором и интендантом можно было сказать, что она прошла и огонь и воду. Разные судьбы были у этих людей, в обыкновенное время — разные интересы, разная жизнь, а, пожалуй, теперь, прожив это время так, как они прожили, до конца жизни станут профессор и партизанский начхоз близкими друзьями.

Застучали вилки и ножи. Вертоградский хвалил грибы, Петр Сергеевич с аппетитом уплетал колбасу, мы с Костровым налегали на кислое молоко.

Следовало вернуться к разговору, который еще далеко не был кончен. Я сразу взял быка за рога.

— Да, — сказал я, — как бы мы весело завтракали сегодня, если бы вакцина и дневник были найдены и возвращены Андрею Николаевичу!

### III

Костров вздрогнул от неожиданности, сердито на меня посмотрел и отвернулся.

Наступила пауза. Все только отвлеклись от этой проклятой темы, только развеселились немного, а я, как нарочно, снова к ней возвращался.

Вертоградский нахмурился. Петр Сергеевич посмотрел на меня удивленно и недовольно, а Валя, добрая душа, только спросила очень дружески:

— А почему не удалось найти, Володя?

Она хотела дать мне возможность объяснить всё и оправдаться. И Вертоградский хотел мне помочь.

— Это я виноват, — сказал он. — Все концы Грибков в могилу унес.

— Трудное было следствие? — спросила Валя.

Я пожал плечами и улыбнулся.

— Не следовало бы мне говорить, так как я ничего не добился, но все же скажу: нет, не особенно трудное.

— Какие же тогда бывают трудные дела? — удивился Петр Сергеевич.

— Ну, — сказал я, — в разное время разные...

— Что же было бы, — спросил Костров (ядовитый он был старик!), — если бы вам пришлось столкнуться с трудным делом?

Я промолчал. Петр Сергеевич встал и подошел к окну.

— Солнце высоко, — сказал он. — Надо вам собираться. И мне давно пора.

Жестом я остановил его:

— Десять минут не расчет, Петр Сергеевич, подождите.

#### IV

Я допил чай и поставил стакан на стол. Еще раз прикинул в голове все то, что мне предстоит сказать Вертоградскому. Я чувствовал, что он насторожился. То, что я без всякой видимой причины задержал Петра Сергеевича, не прошло для него незамеченным. Кажется, Андрей Николаевич и Валя тоже почувствовали, что я не случайно попросил остаться партизанского интенданта. Оба они посмотрели на меня внимательно и выжидающе.

Я заговорил подчеркнуто спокойно, даже немного небрежно:

— Вы знаете, Юрий Павлович, даже вот в этом нашем деле, хотя, казалось бы, преступник изобличен и убит, многое кажется неясным.

— Ах, так? — заинтересованно сказал Вертоградский. — На мой дилетантский взгляд, все решено и ясно.

Я не смотрел на Вертоградского и сказал, не обращаясь ни к кому в особенности, как бы просто размышляя вслух:

— Мне думается, что у Грибкова должен быть сообщник.



— Неужели это еще не кончилось? — тоскливо сказала Валя.

— Конечно, не кончилось, — буркнул Костров. — Вакцины-то ведь нет? Мы не знаем, где она.

Вертоградский пожал плечами:

— Под любым деревом, в любой куче валежника. Лес велик.

Но я, не сбиваясь, продолжал раздумывать вслух:

— Найдем мы вакцину или не найдем, а сообщника найти мы должны.

— Откуда сообщник? — удивился Вертоградский.

— Давайте рассуждать. Убить Якимова Грибков мог и один. Но связать, заткнуть рот и спрятать... подумайте сами. Якимов был здоровый, сильный человек.

— Грибков мог его оглушить, — сказал Вертоградский.

— На голове у Якимова нет повреждений.

— Может быть, наркоз?

— Допустим. — Я закурил папиросу и некоторое время ходил по комнате, как бы раздумывая, могли ли Якимова усыпить наркотом. — Допустим также, — сказал я, — что Грибков выследил, где хранится вакцина. Но не кажется ли вам странным, Юрий Павлович, что он уверенно заходит в лабораторию, не зная, спите вы или нет? Ведь, согласитесь, это очень рискованно.

— Да, конечно, — сказал Вертоградский, но, подумав, добавил: — Правда, я сплю очень крепко.

Мы говорили спокойно, неторопливо, будто рассуждали на интересную, но лично нас не касающуюся тему.

— Мы-то знаем, что вы спите крепко, — засмеялся я, — но откуда мог это знать Грибков?

Вертоградский усмехнулся тоже:

— Должен сказать, что эта моя несчастная особенность известна довольно широко. Об этом могли говорить при Грибкове. Я знаю, что надо мной немало шутили в отряде.

— Хорошо, — согласился я. — Это, конечно, возможно. Но откуда Грибков знал, что дневник зашифрован? Это ведь было известно только своим. Об этом не могли говорить в отряде. А если он не знал, что дневник зашифрован, почему он просто не убил Якимова? Это было бы гораздо легче.

— Вообще говоря, вы правы, — нахмурился Верто-

градский, — рассуждение интересное. С другой стороны, последнее время Грибков довольно часто к нам заходил. Он сделал вот эту качалку. Он сколачивал ящики. Я не помню точно, но, по-моему, он чуть ли не каждый день бывал. Он мог подслушать какой-нибудь наш разговор о шифре.

— Тоже возможно, — коротко согласился я. — А появление записки вам не кажется странным?

Вертоградский откинул голову на спинку качалки и положил руки на подлокотники. Он был безмятежно спокоен. Слишком спокоен, чтобы это могло быть естественным. Я стоял перед ним, засунув руки в карманы, и смотрел на него в упор. Теперь уже, кажется, все в этой комнате почувствовали скрытое напряжение нашего разговора. Костров, который подсел к печке и ворошил кочергой пылающие бумаги, так и застыл с кочергой в руке и, повернув голову, недоуменно смотрел то на меня, то на Вертоградского. Валя держала в одной руке полотенце и, кажется, совершенно забыла, что собиралась вытирать тарелки. Петр Сергеевич, как человек боевой, уже сунул руку в карман, очевидно решив, что скоро понадобится револьвер, хотя и совершенно не понимая, на кого придется его направить.

— Несчастный вы народ, следователи! — вздохнул Вертоградский, все еще спокойно раскачиваясь. — Все вам кажется подозрительным. Трудно вам жить, Владимир Семенович...

— Думаю, — сказал я, — что дальше вы, Юрий Павлович, сами со мной согласитесь.

— Послушаем, — сказал Вертоградский.

— Вчера днем я сказал, — продолжал я неторопливо, — что улики против Якимова недостаточно. И вот через пятнадцать минут Андрей Николаевич приносит якимовскую записку. Не правда ли, неожиданное совпадение?

— Позвольте... — Костров отложил кочергу, встал и подошел ко мне. — Позвольте, Владимир Семенович, ведь как раз в это время Грибков принес мне ящики!

— Да? — спросил я. — А вы видели, что Грибков писал записку?

— Нет, конечно, не видел. — Костров был страшно возбужден. — Но я также не видел, чтобы Юрий Павлович ее писал.

Имя было названо. Пожалуй, только Костров не понял, что сказанная им фраза резко изменила характер разговора. До сих пор — внешне, по крайней мере, — это был обыкновенный дружеский разговор. Одна фраза Кострова превратила его в допрос. Все остальные почувствовали это сразу.

— Папа, — воскликнула Валя, — почему Юрий Павлович?

Костров растерянно оглядел нас всех.

— Я не знаю... — сказал он. — Я думал, мы просто так говорим, к примеру... Это же не допрос.

Это был именно допрос, и его нельзя было прекратить. Раз имя подозреваемого было названо, разговор должен был продолжаться до конца.

Теперь Вертоградский решил обнажить существо разговора. Он усмехнулся и встал с качалки. Мы с ним стояли друг против друга, и мне приходилось смотреть на него снизу вверх, потому что он был выше меня на целую голову.

### *Глава одиннадцатая*

## **УЛИК ДОСТАТОЧНО**

### I

— Нет, это именно допрос, — подтвердил Вертоградский. — Но вы не смущайтесь, Андрей Николаевич. Я понимаю Владимира Семеновича, он обязан всех допросить.

Я был по-прежнему дружелюбен.

— Конечно, — согласился я. — Мы все заинтересованы в том, чтобы установить истину, и Юрий Павлович — не меньше других. Не надо только называть это допросом. Просто беседа, имеющая целью помочь следствию.

Костров переводил испуганный взгляд с Вертоградского на меня и с меня на Вертоградского. Очень несчастный вид был у старика. Я чувствовал, что он сам пугается мыслей, которые невольно приходили ему в голову.

— Итак, давайте продолжать наши рассуждения, — сказал я. — Вернемся к записке...

Я говорил по-прежнему спокойно, ни на кого не глядя, просто размышляя вслух. На секунду у меня мелькнула была мысль, что, быть может, опасно выпустить из виду Вертоградского, но, взглянув на Петра Сергеевича, я успокоился: он сидел на окне с видом чрезвычайно решительным. Не зная еще, как развернутся события и кто окажется виноват, он, видимо, твердо решил, что его долг не дать виноватому бежать.

— Видите ли, Андрей Николаевич, — продолжал я, — свой человек, находясь в комнате, всегда сможет написать записку так, что никто не обратит на это внимания. Но когда чужой приходит в дом по делу на десять минут, он на виду все время. Как же мог написать Грибков записку, находясь с вами и с Юрием Павловичем в одной комнате? Ведь для этого надо достать карандаш, бумагу, сесть. Как хотите, а мне это кажется невероятным. Потом, какая случайность: он оказывается под окном как раз тогда, когда я говорю, что улики против Якимова недостаточно.

— А может быть, находясь под окном, — перебил меня Вертоградский, — и услыша ваши слова, он там же и написал записку? Так ведь тоже могло быть. Тогда наверху ему оставалось только сунуть записку в книгу. Ну, а это он, конечно, мог незаметно сделать.

— Может быть, — согласился я. — Удивительно только, как все время везло Грибкову... до самой его встречи с вами.

— Зато при встрече со мной, — насмешливо подхватил Вертоградский, — ему решительно не повезло.

Костров вдруг обрадовался.

— Вот-вот, — закивал он головой, — правильно, правильно!

Старику ужасно не хотелось разочаровываться в своем ассистенте. Как всякий хороший и честный человек, он надеялся, что и все вокруг окажутся честными и хорошими. Тем более, что его еще мучила совесть, что он так поспешно обвинил Якимова! Он повернулся ко мне с вопросительным и просящим видом:

— Владимир Семенович, это ведь действительно снимает все подозрения с Юрия Павловича!

— Вы только не подумайте, — мягко сказал я, — что я обвиняю Юрия Павловича. У нас разговор предпо-

жительный. Но допустите на одну минуту, что Юрий Павлович — засланный агент.

Костров возмущенно пожал плечами.

— Ну, знаете... — начал он.

Но Вертоградский его перебил:

— Ничего, продолжайте, Владимир Семенович.

Я улыбнулся:

— Хорошо, будем продолжать. Значит, Юрий Павлович, вы, с вашего разрешения, засланный агент. При чем самый квалифицированный, самый ценный.

Вертоградский вежливо поклонился:

— Спасибо за комплимент.

— Ваша задача, — дружелюбно продолжал я, — стоять в стороне и не попадаться. Ваша работа далеко впереди. Вам нужно сохранить себя для нее. Грибков вас знает. Вы были с ним и раньше связаны. Может быть, даже именно он передал вам указание уйти в глубокое подполье и ждать. Важнее всего для вас — не выдать себя. Поэтому вы вовсе не хотите помогать Грибкову в его работе. Но события поворачиваются так, что Грибков оказывается в опасности. Что вы будете делать?

Вертоградский подумал, нахмурился и пожал плечами.

— Ей-богу, — сказал он, — ничего не приходит в голову.

— Но это же совершенно ясно, — удивился я, — как вы сами не догадываетесь? Помогать Грибкову рискованно, но, если он попадется, риск еще больше. Вы совершенно не гарантированы от того, что он вас не назовет на допросе. Конечно же, вы будете пытаться спасти Грибкова. Правда ведь?

Вертоградский улыбнулся широкой, добродушной улыбкой.

— Вы совершенно правы, Владимир Семенович, — согласился он. — Разумеется, если бы я был немецким агентом, я бы попытался Грибкова спасти. Но ведь вы хорошо знаете, что я его не спасал.

— Конечно, конечно, — улыбнулся я. — Но представим себе на минуту, что вы фашистский агент, а спасти Грибкова не можете. Что вы должны делать в этом случае? Не догадываетесь? Вы ведь умный человек. Конечно, вы должны любой ценой заставить его замолчать.

— Вы хотите сказать, — медленно проговорил Вертоградский, — убить его?

— Да, — согласился я, — убить. Кстати, мы уже говорили, что вам нужно выдвинуться. А убийство немецкого шпиона — это акт героический.

Молчал я, молчал Вертоградский. В комнате было очень тихо. Так тихо, что слышно было взволнованное, неровное дыхание Вали. Вертоградский рассмеялся и сказал громко и весело:

— Достоевский говорил, что психология — палка о двух концах. Вы бьете больно, Владимир Семенович, но не забудьте, что палку можно и повернуть!

Я наклонил голову:

— Поверните.

## II

— Разрешите теперь, — сказал Вертоградский, — немного порассуждать и мне. Представим себе на минуту, что я действительно нахожусь под следствием. Что я мог бы в этом случае ответить вам? Я бы ответил следующее: у каждой профессии, дорогой Владимир Семенович, есть свои профессиональные болезни: у наборщика — свинцовое отравление, у часовщика — близорукость. Ваша профессия страдает своей болезнью. Эта болезнь — подозрительность и избыток воображения. Стечение обстоятельств кажется вам достаточным для обвинения человека. Между тем, если посмотреть на дело спокойно и не предвзято, то ведь все это будет выглядеть совсем не так убедительно. Все, что вы говорите, Владимир Семенович, это психология, рассуждения, более или менее убедительные, но вовсе не доказательные. Ведь конкретного-то ничего нет... — Он наклонился ко мне и сказал тихо и внятно: — Улику, Владимир Семенович, хотя бы одну улику!

Он был совершенно прав. К сожалению, все это были одни рассуждения. Но я все-таки думал, что улику мне получить удастся. Несмотря на внешнее спокойствие Вертоградского, я чувствовал его растущую растерянность. Вряд ли он ждал, что я буду говорить с ним так прямо. Естественно с его стороны было предположить, что, если я затеял этот разговор и открыл свои карты, значит, у меня есть неизвестные ему доказательства.

Мысль эта наверняка его беспокоила и лишала выдержки и стойкости. Я решил еще раз испытать его нервы.

— Только не забывайте, Юрий Павлович, — сказал я ласково, — что мы говорим предположительно. Это дружеский разговор, не более. — Я помолчал и рассмеялся. — Но, каюсь, Юрий Павлович, после истории с запиской я послал радиogramму в Москву — проверить, учились ли вы в Московском университете.

Я замолчал. Хотя Вертоградский действительно учился в Московском университете и ему нечего было опасаться ответа на мою радиogramму, но он с таким напряжением ждал подвоха с моей стороны, так боялся совершить ошибку, сказать не то, что следует, что молчал, видимо, соображая, не могло ли из университета прийти разоблачение. Все почувствовали странность его молчания.

— И вам ответили, что он не учился? — волнуясь спросил Костров.

— Что вы, Андрей Николаевич! — удивился я. — Я бы тогда просто арестовал Юрия Павловича.

Вертоградский засмеялся коротким и резким смехом.

— Какое счастье, — сказал он, — что не напутали в архиве!

— К счастью, путаницы не произошло, — успокоил я его.

Вертоградский вздохнул, шутливо изображая чувство величайшего облегчения.

— Значит, я могу себя считать реабилитированным? — спросил он. — Валя, налейте оправданному чаю, у него от волнения пересохло в горле.

Нехороший был у него при этом вид. Вероятно, действительно у него пересохло в горле. Он был бледен, и шутка его прозвучала неестественно. Настолько у него был странный вид, что Валя растерянно на него посмотрела и немного отодвинулась, когда он к ней подошел. Он не обратил на это внимания, сам налил себе чаю и сел.

Но наш разговор далеко еще не был кончен. Я подошел и снова стал против него. И снова, не отрывая глаз, на нас смотрели Костров, Валя и Петр Сергеевич.

— У меня ведь, как вы сказали, профессиональная болезнь, — снова заговорил я. — На всякий случай я

спросил у вас, в какой вы школе учились, и послал радиограмму в Калинин.

Он поднял на меня глаза. Они были насмешливо прищурены. Я думаю, Вертоградский прищурил их для того, чтобы я не увидел их выражения.

— Предусмотрительно, — сказал Вертоградский. — Но могла произойти путаница в калининском архиве.

— Могла, — согласился я, — но не произошла. В Калининне уничтожены архивы перед занятием города немцами.

Вертоградский рассмеялся раскатисто и громко. Немного слишком громко, немного слишком раскатисто... Мы ждали все, когда он кончит смеяться, и я видел ужас в глазах и Кострова и Вали. Не мог так смеяться человек, уверенный, что никакое разоблачение для него не опасно. Он наконец замолчал и отхлебнул чаю.

— Тогда пошлите радиограмму в родильный дом, — сказал он. — Может быть, я и не родился.

Я оперся на стол и приблизил лицо к его лицу.

— Этого не нужно, — сказал я. — В какой вы, говорите, школе учились?

Он посмотрел на меня и спросил:

— А что?

— Помните, вы ночью рассказывали мне, что в тринадцатой? Это несчастливое для вас число: в Калининне всего десять средних школ.

Опять наступила пауза. Я смотрел на него внимательно. Он растерялся. Моя уверенность подействовала на него. Он попался даже легче, чем я ожидал. Он несколько раз пошевелил губами, прежде чем начать говорить.

— Так... — сказал он. И опять замолчал. Потом отпил еще чаю. — Отвечу вам тоже психологическим рассуждением. Я чувствовал, что вы меня подозреваете, разумеется нервничал и напутал. Я и сам тогда заметил и сразу поправился бы. Но боялся, что вам покажется это подозрительным, и промолчал. Я учился в школе номер восемь, в доме номер тринадцать по улице Энгельса.

Вертоградский помолчал. Постепенно он снова обрел хладнокровие. Я смотрел на него улыбаясь, и его, видимо, очень тревожила моя улыбка. Он быстро соображал, не сделал ли он еще какую-нибудь ошибку. Это был уже



не тот хладнокровный, непроницаемый человек, с которым мы несколько часов назад беседовали, попивали чай, — теперь он был не в силах сдерживаться, и чувства его ясно отражались на лице. Я даже ощутил момент, когда у него вдруг мелькнула догадка. Он быстро посмотрел на меня.

— Но когда вы успели получить ответ на радиogramму? — спросил он.

Я рассмеялся.

— Юрий Павлович, Юрий Павлович, — сказал я, — как легко вы отказываетесь от своих школьных товарищей и учителей! Я не только не успел получить ответ, но я даже и не запрашивал, сколько в Калининском школе. Думаю, что больше тринадцати. Я хотел только узнать, точно ли вы осведомлены о своей прошлой жизни.

### III

Снова наступило молчание. Вертоградскому нелегко дался этот удар. Он ясно почувствовал, что хозяином в разговоре был я. Он понимал, что наделал глупостей. Это лишало его уверенности в себе. Он был в том состоянии, когда люди, чувствуя, что надо исправить сделанные ошибки, совершают новые, еще более тяжелые. Он перевел дыхание.

— Допрос вы ведете мастерски, — сказал он. — Должен признаться, что вы меня сбили с толку. Еще немного, и я сам поверил бы в то, что я виноват.

Я пристально на него взглянул. Действительно, он был сбит с толку. Он был готов выдать себя. Теперь я должен был предоставить ему эту возможность. Я покачал плечами.

— К сожалению, вы правы, Юрий Павлович, — сказал я, — это все психология. Улик у меня все-таки нет ни одной. Вот если бы в доме была вакцина, это была бы улика.

— Почему? — спросил Вертоградский.

— Не мог же ее Грибков спрятать при вас, если вы не были его соучастником!

— То есть когда «при мне»?

— Вчера, когда вы его застрелили. Перед этим мы достаточно тщательно обыскивали комнату, чтобы знать, что вакцины здесь нет.

Вертоградский поднял на меня глаза. Вероятно, прежде всего он подумал, что я знаю, где вакцина, потом вспомнил, что слишком взвинчен и не может рассуждать хладнокровно. Он сделал скидку на свою возбужденную мнительность. Невольно в том состоянии, в котором он был, масштабы явлений смещались. Серьезное казалось пустяком, а пустяк вырастал в страшную угрозу. Он заставил себя поверить в то, что я ничего не знаю.

— Я думаю, — медленно сказал он, — что в доме вакцины нет.

Я пожал плечами.

— Посмотрим, Юрий Павлович, — сказал я.

— Владимир Семенович, — возбужденно вмешался в разговор Костров, — если вы думаете... если вы подозреваете, так давайте искать!

За окном задребезжала телега.

— Лошадь подана, — сказал Петр Сергеевич.

Костровы смотрели на меня выжидающе. Я отрицательно покачал головой.

— Нет, Андрей Николаевич, — сказал я, — вы сейчас собирайтесь и поезжайте. Я здесь останусь один, спокойно, не торопясь обыщу дом и к обеду буду у вас... Правильно, Петр Сергеевич?

— Конечно, правильно, — согласился Петр Сергеевич. — Вас одного мы как-нибудь всегда доставим.

— Не хочется мне уходить... — колебался Костров.

— Придется, — решительно сказал я. — Когда вы уедете, я пересмотрю каждый вершок. Так будет гораздо лучше.

Петр Сергеевич встал, выглянул в окно, окликнул возчика, распорядился, чтобы телегу подали к крыльцу, вознегодовал, что на лошади не тот хомут, — словом, стал проявлять энергичную деятельность.

— Пойдем, папа, — сказала Валя. — Нельзя же людей задерживать. Твой рюкзак еще не уложен.

Недовольно нахмурившись, Костров пошел наверх, в мезонин. Вертоградский спросил неуверенно:

— Владимир Семенович, я тоже могу ехать?

— Конечно, Юрий Павлович. Пока ведь улики нет.

— Ну что ж, и на том спасибо, — криво улыбнулся мне Вертоградский.

— Пожалуйста, — ответил я, тоже улыбаясь.

Голос Петра Сергеевича раздавался уже за окном. Он кого-то распекал, кем-то возмущался.

— Боком, боком! — говорил он. — Неужели не понимаешь? Осторожней!

Костровы ушли в мезонин. Я выбежал на кухню и в кухонное окно крикнул что-то Петру Сергеевичу. Когда за мною закрылась дверь, Вертоградский остался в комнате один.

#### IV

Полминуты я беседовал с Петром Сергеевичем, потом хлопнул наружной дверью. Казалось, что я вышел из дома. Конечно, Вертоградский мог на всякий случай открыть дверь и проверить, но у него были считанные секунды, он не мог их тратить щедро. Бесшумно, на цыпочках, я пробежал через кухню и, прислушиваясь, застыл у двери. В комнате было тихо. Я ждал. Шагов его я мог не услышать — наверно, он тоже ходил на цыпочках, — но шелест бумаги, звон стекла, стук кочерги — что-нибудь должно было мне указать момент, когда следовало открыть дверь. Я ждал. Петр Сергеевич вошел в кухню и уже открыл рот, чтобы спросить меня о чем-то, но я так замахал рукой, что он застыл с открытым ртом и широко открытыми, испуганными глазами.

Секунда шла за секундой. В комнате была по-прежнему мертвая тишина. Может быть, Вертоградский действовал так осторожно, что я напрасно ждал звука, который бы выдал его, или же я прослушал? Я уже решил открыть дверь наудачу и в это время услышал тихое, чуть различимое звяканье стекла. Я распахнул дверь и вошел в комнату. Я не ошибся: Вертоградский сидел у печки и мешал кочергой горящую бумагу. Он не обернулся, когда я вошел. Поза его была неестественна и неудобна. Видимо, так застал его стук открывшейся двери. Я осмотрелся. Ведро с водой стояло на полу. Я подошел к печке. Черная коленкоровая тетрадь корчилась на огне; рядом поблескивали осколки разбитых ампул. Как я и рассчитывал, он попытался уничтожить главную улику против себя.

— Что же вы не собираетесь, Юрий Павлович? — спросил я спокойно. — Бумаги жжете?

Он не успел мне ответить. Схватив ведро, я выплеснул всю воду в печь. Туча пара окутала Вертоградского, он вскочил. Я наклонился и вытащил из огня полусгоревшую тетрадь.

— А куда вы ампулы дели? — деловито спросил я его, вынимая из кобуры наган.

Секунду Вертоградский смотрел на меня безумными глазами. Он глотал воздух, как рыба. Он был явно в смятении и не знал, что ему говорить и что делать. Впрочем, этой одной секунды было достаточно для него, чтобы понять, что он выдал себя окончательно и бесповоротно. Он рванулся было к окну, но сразу остановился. В дверях кухни стоял Петр Сергеевич, держа в руке трофейный немецкий маузер. Еще секунда молчания. Истерическая улыбка появилась на лице Вертоградского, он взглянул на дверь мезонина.

Я не заметил, когда вышел из мезонина Костров. Во всяком случае, достаточно давно, чтобы услышать и понять главное. Он сбежал по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки, и подскочил к Вертоградскому.

— Сожгли! — закричал он надтреснутым голосом. — Разбили!

Маленький, он стоял перед высоким Вертоградским и, кажется, собирался вцепиться ему в горло. Вертоградский немного овладел собой. Он провел дрожащей рукой по волосам и повернулся к Кострову.

— Вот и всё, — сказал он с усмешкой. — Дневник сгорел, вакцины не существует.

Он сказал это спокойно, но губы его дрожали, и столько откровенной ненависти было в его взгляде, что трудно было сейчас понять, как мог этот человек годами притворяться любящим и преданным другом семьи Костровых.

Дальше мне не следовало молчать. Кострова мог хватить удар от горя и ярости.

— Не надо, Юрий Павлович, считать других дураками, — сказал я мягко. — Неужели вы думаете, я оставил бы вас одного, чтобы вы могли тут спокойно хозяйничать? Мне ведь нужна была только улика, вот я ее и получил.

Я вынул из кармана настоящий дневник и настоящие ампулы и протянул их Кострову.

\* \* \*

Вертоградского увели. Его отправят следующим самолетом. Не надо, чтобы он летел вместе с Костровыми.

Андрей Николаевич долго бормотал что-то совершенно невразумительное. По некоторым признакам я догадался, что он благодарил меня и просил извинения за свою неверчивость.

А Валя просто взяла мою руку и сказала, глядя мне прямо в глаза:

— Вы тоже полетите в Москву, Володя? Мне так спокойно, когда вы с нами.



## СОДЕРЖАНИЕ

Н. Томан. В ПОГОНЕ ЗА «ПРИЗРАКОМ» . . . . .	3
Е. Рысс, Л. Рахманов. ДОМИК НА БОЛОТЕ . . . . .	135
Г. Мартынов. НЕВИДИМАЯ СХВАТКА . . . . .	305
И. Ефремов. АТОЛЛ ФАКАОФО . . . . .	339
А. Беляев. ЗВЕЗДА КЭЦ . . . . .	375
И. Ефремов. „КАТТИ САРК“ . . . . .	529

### *„В мире фантастики и приключений“*

*Редактор Т. В. Боголепова. Художественный редактор Б. Ф. Семенов  
Технический редактор П. С. Смирнов. Корректор М. Д. Лебедева*

Сдано в набор 25/XII 1958 г. Подписано к печати 29/IV 1959 г.  
Тираж 150 000 (1—75 000) Формат 84 × 108<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Физ. печ. л. 18.  
Усл. печ. л. 29,52 Уч.-изд. л. 30,08. М-23261 Заказ № 1862

Лениздат. Ленинград, Торговый пер., 3.  
Типография им. Володарского Лениздата, Фонтанка, 57.

Цена 11 р.

